

Б И Б Л И О Т Е К А

ОГОНЁК

№ 21

1971



Виктор ЛИХОНОСОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»
М О С К В А

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СВЕТЛО

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 21

Виктор ЛИХОНОСОВ

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СВЕТЛО

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1971

Виктор ЛИХОНОСОВ

Виктор Иванович Лихоносов родился 30 апреля 1936 года в Кемеровской области, на станции Топки. Детство и юность провел в Новосибирске. После окончания Краснодарского пединститута четыре года работал в сельской школе на Кубани учителем литературы и истории.

В 1963 году в «Новом мире» был напечатан его первый рассказ, «Брянские». Перу В. Лихоносова принадлежат книги «Вечера», «Что-то будет», «Голоса в тишине», «Чалдонки», «На долгую память», «Счастливые мгновения». Некоторые произведения писателя переведены на болгарский, чешский, немецкий, французский языки.

Член СП.

КОГДА-НИБУДЬ

Тогда ехал я с юга, с дремного Кавказского побережья. Джанхот был прекрасен, горяч и шумен, но весь месяц я что-то томился, мечтал о другом. Я устал от жары, от неожиданно свежих вечеров, когда по-над морем или в кустах белеют мужские рубашки, из дома отдыха слышна музыка, берег тенист и звучен от волн, а море плоско поблескивает, заполняя собой все пространство, звезды колются над горизонтом, и ты смотришь, думаешь, и кого-то тебе надо бы рядом...

После моря и заслоняющих гор хотелось прохлады, темноватой дневной зелени, речек, широты и далекости ровных русских полей. Изредка, просыпаясь в поезде, покуривая и выглядывая с полки в узкую створку окна, я мимолетно вспоминал Джанхот и видел дачу Короленко, узкий гальковый берег, высокую дорожку наверх и прозрачное море в турецкой стороне. И еще Люсю, робкую девушку, очень миловидную и нежную, всю точно ленивую в своей нежности, в свободно опущенных, тонких и гибких, как прутья, руках, во взгляде, в том, как она шла по жаре с купания и словно чувствовала мой взгляд на себе и знала, что я завтра уеду и можем больше не встретиться.

— Уезжаешь? — сказала она, когда я попался ей у ворот. — Куда?

— Далекко,— ответил я.

— Ну что ж...— взглянула она обидчиво.— Счастливо.

«Не обижайся»,— хотел сказать я.

Вечером за Россосью нас долго не отпускали с какой-то маленькой станции. Я ехал в последнем вагоне. Весь я был настроен на одно, и то, что жило и шумело под боком, не задевало меня, не занимало, как прежде, а всякие глухие полустанки, вид оставшихся за вагоном окрестностей, темное поле под откосом, его запах, чувство необозримого в засыпающей густоте ночи простора и песни из репродуктора в палисаднике близко и тонко отзывались во мне. Откуда вдруг приходит такое? Откуда приходит стеснительное чувство любви к жизни, к ожиданию редких мгновений и проезжим тихим местам? Пели на русский манер — протяжно, с тоской и что-то народное, местное,

и пели так, что поневоле увидишь перед собой речку, вечер, копы и все полевое, деревенское, зовущее...

В конце второй ночи я застал прохладный рассвет. Туман белыми ключьями вспухал над водой, и было похоже, что речка дышит со дна паром. Стукнулся и пролетел мосток.

— Подъезжаем, — сказал кто-то спросонок.

Когда же я снова проснусь в вагоне?! Когда же я сойду на рязанской станции и, уже что-то переживший, в чем-то пережившийся, вспомню и тот август и себя? Когда?

Снится мне этот простой двухэтажный вокзал и древний пыльный город, где я в босоножках, в пиджачке и с саквояжем бродил до обеда по улицам, смотрел, спрашивал и по-детски удивлялся, как все привыкли и не замечают, не волнуются вместе со мной. Вот над рекой, над пристанью, легкие главы собора, спуск, женщины после базара, их разговоры и мой восторг, мое нетерпение услышать почему-то старую рязанскую речь, песни, увидеть такое, чего нет и не может быть где-то. Каким я тогда был! Таким больше не быть, и, верно, не то переживу я теперь, не так буду оглядываться, не постараюсь вызвать к себе каких-то совершенно особых, непритворных, но обожаемых чувств! И что же будет, чему поклонюсь, чем удивит меня жизнь в мои уже скорые тридцать лет?

Я сразу притих, сосредоточился и ждал, ждал чего-то.

На пристани я читал расписание, и старорусские названия остановок тоже бередили мне сердце.

Неповторимо было все, и долго потом вспоминал я день на пристани и всякий раз затихал душой. Я тогда ни на минуту не забывал, куда еду, и все как нарочно совпадало с моим настроением. И вот уже опять август, пестро выстилаются полевые дороги, а я все еще не могу собраться в луга через столько лет, хотя и не века же прошли с тех пор, но все равно кажется, что и не со мной это было.

Тот день выдался хмарным. После обеда припустил дождь, заволакивая берега, собор и повороты Оки, откуда поджидали катер. Женщины сначала галдели, закусывали, а к приходу катера скучно томилась под крышей в проходе и накликали погоду. Где-то ютились их деревни, и все им было привычно. А мне все было ново, никто меня не встречал, не к кому идти ночевать, и я этому радовался, гадая о деревне, о себе в ней. Почему-то виделась она мне без огней, с густыми деревьями и старинным укладом, чудились опять песни, такие, как вчера на станции.

Уж не подумаю я об этом теперь, и только чувства, наверное, вернутся, напомнятся, неожиданно найдет настроение.

От пристани катер отошел после дождя. Небо не успело проясниться. Ока кружила на виду куполов, и вскоре купола отделились, присели к земле. Я сидел на палубе, раскинув руки по спинке скамейки, оглядывался на повороты, на лодки, на копны по самому берегу. Я глядел на незнакомые окрестности, о которых до сего времени только слышал, и думал о прошлом. Ока все кружила и кружила, потом вдруг всплеснула радуга, и я наперед уже знал: не забыть мне по молодости ни лугов, ни пристаней, ни копен, ни себя, ни редких ночных огней и домишек на косогоре, где мы сворачивали перед тем, как пристать на место.

Как хочется вернуться той же дорогой!

Вот уже вижу причал в Коростове, на полпути. Вижу безлюдный высокий берег, телят и лужи подалее. Вижу плавный сельский вечер с отсветами по окошкам, парня, который минуту назад прощался со мной, складывал гармошку и предвкушал встречу и выпивку. Я тогда мало подумал о нем. Он любил выпить и подразнить при народе встречных девчат, поболтать, потискать и пойти дальше, забыть навсегда. Плечистый, насмешливый, он только что сидел со мной рядом, играл и громко распевал, вел себя так, будто все ему приходилось соседями, ко всем обращался небрежно и просто:

— Дед! Тебе помирить пора, а ты в четушку заглядываешь!

— Далеко? — спросил он у меня.

— В Константиново.

— Живешь там, — подморгнул, — или к бабе?

— Нет, просто...

— А-а... О чем все думаешь? О девушке? — сказал он и рванул гармонь, забыл меня. — Угадал? — спросил погодя.

— Нет, — сказал я и подумал о своем.

— Брось скрывать! — обнял меня парень и потрепал за плечо.

Было порой странно приглядываться к попутчикам и отчужденно думать об их судьбе, все время томясь своим, не осуждая их, а только понимая, что уже завтра они забудут меня, как забыл бы их и я в другие дни, а теперь нет, потому, что я плыву по этим местам и все застревает во мне.

Женщины изредка посматривали на нас.

— Не узнаешь? — спросил парень одну. — Не узнаешь меня?

Женщина уставилась на него.

— А я тебя помню, — сказал парень.

— Откуда ты помнишь?

— Ты ж в Костине живешь!

— Ну?

— Дядь Ваню Бодягина знаешь?

— А как же!

— Я ему зятем приходился.

— Да ну врать-то!

— Клянусь! Святая икона, крест во все пузо, чтоб мне счастья не было!

— Помер дядь Ваня.

— Когда?

— Порядком уже. Сорок дней справили.

— Ну ты-ы! — отложил парень гармонию. — Какой мастер был! Что печку скласть, что дом поставить. А выпить иль песню спеть — и не ходи к гадалке. Помер, значит. Жалко.

— Так ты почему его знаешь?

— Дядь Ваню-то не знать! Говорю тебе: за его дочкой ухаживал.

— Ох, врать-то, ох, врать!

— Да ты что, тетка? Дядь Ваню не знать, ну ты даешь! Бодягина-то, а? Ну ты отмочила! Да его тут, если хочешь, все знали. Я уж и не вспомню, были ли у нас еще такие песельники. Да и вообще, что печку скласть, что дом поставить. А выпить — уж и молчу. И не ходи к гадалке.

— То-то что. Пьянчужка он был правильный.

— Пил, и дело знал, и в любой компании свой был. Он это что русские там, народные, что эти, оперные, — наизусть!

— Талант.

— Какой талант!

Он замолчал, потом повернулся ко мне, коснулся моих волос.

— Слушай, друг, — сказал я, — а ты не скажешь: здесь есть еще, кто застал Есенина?

— Здесь? Затрудняюсь сказать. Я, признаться тебе, этим делом мало увлекаюсь. От кого-то я слышал, погоди... от кого же?.. Эй, бабы! — крикнул он женщинам. — Кто тут у нас Есенина живым видел?

— Это в Константинове надо спросить, их там много.

— Верно, друг. На месте спросишь. Пока, мне сходить надо. Может, еще доведется встретиться.

Он пробежал по сходям, поднялся на бугор и уже заиграл, запел и временами с кем-то перекрикивался. Женщины с палубы провожали его веселыми взглядами.

Пора наступила закатная, тучи распались, но солнце не вышло — день померк. Катер развернулся, парень помахал мне, и я пожалел, что никогда-никогда уже не увижу его, ничего не узнаю о нем. Трудно представить судьбу путников точно, получается на свой лад, и это здорово — встречаться, тут же жать руки и потом через столько лет волноваться, гадать о мельк-

нувших, все еще не привыкая к мысли, что жизнь редко сводит нас насовсем.

Дорожное, оно всегда неоконченное, всегда только с намеками и полуоткровениями, и оно зачастую памятнее постоянного и разгаданного. Его стараешься вернуть. Ту бы дорогу снова, такой же вечер... Ту бы женщину увидеть, ведь она еще там. И там ли?

Я шел с нею ночью от пристани, а на палубе она была среди теток, и я слышал ее голос после моего разговора со стариком, когда она стала вспоминать всякие случаи из жизни деревни.

Старик тогда подошел к поручням и громко спросил меня: — Есениным, значит, интересуешься?

Я обернулся. Неопрятный, волосатый, с крошками в бороде, он был похож на нищего, каких немало бродило после войны по базарам и вагонам пригородных поездов. Лицо его было большое, испитое, и пахло от него водкой. Сказав, он добрыми невыспавшимися глазами посмотрел на меня с теплотой и тем притворным загадочным молчанием, на которое способны чаще всего пьяные.

— «Дай, Джим, на счастье лапу мне»,— сказал старик и грустно, но театрально повел головой.

Удивленный, я тогда не обратил на это внимания.

Я смутился. Давно не встречались опустившиеся люди, и старик поначалу меня потряс. Еще с детства я не умел прогонять пьяных и нищенок, и они приставали ко мне, изливались, плакали, клялись, лезли целоваться, а под конец, убедившись во мне, просили денег.

— Сыно-ок! — проникновенно сказал старик и вытер большим пальцем глаза.— Я был другом Есенина.

«Надо же!» — подумал я восхищенно. Он протяжно молчал, а я с нетерпением ждал чуда.

— Я был другом Есенина,— повторил он.— Не удивляйся, что я плохо одет, грязный, видишь,— показал он изодранный рукав пиджака.— Ну и выпил, конечно, еду из Рязани к сестре, ну и выпил,— ведь все мы простые русские люди. Да! — самозабвенно и театрально поднял он голову.— Едешь на его родину, паломничество, да, это хорошо, узнаю молодость. Сам таким был. Я помню еще старый Петербург, старых поэтов, их уже давно не печатают. А Есенин... Серега... как же! Серега-то мой, любимчик наш! — воскликнул он и стих, погрузился, помолчал.— Я же его на своих руках хоронил. Мы хорошо дружили, кто бы мог подумать, что так случится... Я познакомился с ним, дай бог памяти, у... Клюева. Клюева знаете? Не знаете, его теперь мало кто знает. Сейчас, сейчас вспомню.— Он поднял руку ко

лбу.— «Помяни, чертушка, Есенина кутьей из углей да из омылок банных! А в моей квашне пьяно вспенена опара для свадеб да игрищ багряных». Доходит? Он былинный был, Клюев. Современная молодежь, наверное, и былин не знает.

— Как же вам удалось?

— С Клюевым-то? Я в Ленинграде учился в двадцатые годы. В институте Герцена, знаете? Вечный студент. В медицинском учился. Потом думал путевский закончить — бросил. Сил не хватало. Ну сколько можно учиться, верно?

Я жил в общежитии, а Серега — в гостинице, не помню, как она называлась. Бывало, звонит: «Сеня! Поедем к Клюеву!» Клюев, Ширяевец, Есенин—это же одна школа. Я говорю: «Знаешь, Сереж, у меня кой-какие дела, приезжай ты ко мне». «Нет, поедем к Клюеву!» Друзья были, позднее разошлись. Клюев Айседору его не любил. Ох, бабица была! А Серега уже звенел. Он еще, когда поссорились, стихотворение про Клюева написал, я сейчас не вспомню дословно, да вы должны знать, там что-то... в клетке сдохла канарейка... Да.

— Ну и что?

— Эх, сыно-ок... Много еще можно порассказать. Чего только не было! К нам в конференц-зал Маяковский ездил. И вот, представляете, сначала выступает Есенин, Серега ведь красивый был, лицо, правда, порядком обрюзгшее, пил Серега правильно, дай бог нам так пить. Есенин кончит, Маяковский выходит. Свист, топот! Маяковский тогда, да простите меня, вот так четыре пальца в рот — и ответную. Находчивый был, собака. А как поэт... Когда он сам читает, оно доходит, но разобрать его ие-рогли-фы с листа — не дай бог. А Серега... У него все-таки пушкинский стих.

Он снова замолк. Стало совершенно темно, где-то в углу, по левому берегу, горел на пристани фонарь.

— А похоронили мы его на Ваганьковском кладбище. На его могиле погребло больше, чем в мировой войне. Да-а, не смейтесь. Девушки стрелялись. Дядя, у которого он воспитывался, ему деревянный крест поставил. Я, когда бываю в Москве, беру пол-литру себе и пол-литру Сереге. И иду на Ваганьковское. Выливаю на могилу и говорю: «На, Серега, утоли жажду». Крест проспиртовался, наверно, до самого корня. Он теперь сгниет только в том веке. Вот вы будете в Москве, зайдите на Ваганьковское, там, должно быть, ему памятник поставили, но я обмывал его память водкой. Как друга. Да, много бы я мог, молодой человек, рассказать вам. Айседору знаете? Дункан, танцовщица. «Дунька» ее Клюев звал. Хо-хо-хо! Ей было за пятьдесят, а красивая, как девятнадцатилетняя девочка. За ней ухаживали четыре массажистки. Вот видишь, у тебя мало морщинок. Сколько, де-

вятнадцать есть? А-а, а если б тебе массажистку, шестнадцать можно бы дать. Серега любил ее, она из него все соки высосала. Вы знаете, как она погибла? Раньше носили длинные шарфы...

— Темно как,— сказал я.

Ветер продувал меня насквозь, руки посинели. Ночь заняла окрестности. И опять с какой-то слабой обидой я подумал о том, что никогда-никогда никто не узнает, каким я был в эту августовскую ночь на катере, и сам, быть может, с годами переживу свои чувства, а когда что-то напомнит о них, не узнаю себя.

Много стыдного и пьяного было в старике, и не тех слов, не тех воспоминаний жаждал я тогда.

Старик быстро мне надоел.

— Сынок,— сказал он перед уходом,— ты извини меня, старого интеллигента... неудобно, но вы поймете меня: не хватает на двести грамм, завтра опохмелюсь, вы не одолжите?

Я остался один у перил.

Всегда не мог я видеть спокойно ночные поля. Выбраться бы сюда зимой, на снег, на завьюженные косогоры, пожить бы подольше, сойтись с людьми, походить в клуб, на свадьбы, поездить в лес и в луга, подумать о чем-то.

Я поеду той же дорогой и сойду там же в тот же поздний час. Не подумаю, как это будет, но все отзовется шорохом давней наступающей ночи, когда я шел от реки с молодой женщиной.

Мы взбирались в гору под густыми тополями. Было так темно, что мы чувствовали друг друга лишь по движению, по шарканью наших шагов да по голосу. По голосу я и определил, что она молодая. Я спрашивал о ночлеге.

— Я бы вас к себе пустила,— сказала она,— да у нас тесно.

Она нечаянно оступилась, ойкнула, и я подхватил ее поперек груди, и мы на мгновение замерли от неловкости и постояли молча, дыша, воображая каждый свое, а во мне где-то колыхнулось желание повстречать на чужой стороне женщину, которая бы мне долго помнилась после.

— А вы к кому? — уже натянуто спросила она, когда пошли.

— Ни к кому.

— По делам?

— И не по делам и не в гости.

— У нас тут по-всякому хорошо. Вот это Кузьминское,— показала она рукой, когда мы вышли на свет окон.— Константиново туда дальше. У нас тут Есенин родился, слышали, наверно?

— Как же...

— К кому ж вас устроить?

Мы подошли к одному дому — там спали, к другому — там мешали маленькие дети, и, пока хозяйка извинялась, советовалась с крыльца, я разглядел под окном лицо моей провожа-

той — русское, симпатичное лицо, которое в деревне и в сумерках бывает прекрасно.

От дальней дороги меня охватила слабость, клонило ко сну: прикорнуть бы или сесть под иву и ничего не желать, ни о чем не спрашивать, только ощущать, что ты дальний, что все сбылось — вот она, та деревня! — что уже поздно и никого у тебя здесь нет.

Она привела меня наконец к высокому дому, постучала в завешенное платком окно.

— Баб Филь! Не спишь?

Кто-то отвесил платок, недобро всмотрелся, приставив ладонку к бровям. Долго бабка выспрашивала, наконец впустила. Интересно, жива ли еще она?

Когда она впустила и рассмотрела меня, сразу сделалась доброй, посадила за стол и принялась кормить да расспрашивать.

— Ну, теперича ты ж чей будешь? — Села она напротив, подперлась кулачком и смотрела на меня маленькими глазами.

— С моря еду.

— Вот оно что! — удивилась она, как будто море было на краю света. — Чего ж ты сюда: родственники какие или как?

Я ответил.

— А-а. Ну это еще ничего. Это ничего, милай. Это не ты первый.

— Вы Есенина помните?

— Как же, видела. Есенин-то, как же! Он тут, в Киньстинтинево, жил. У него, сказать, и мать еще живая.

— Умерла.

— Померла? Когда ж она успела? Уж-то я забыла? На-адо же...

— Ну, а какой он был? Есенин-то?

— Какой он был... — Она собрала в горсть губы и потеряла щеку. — Такой вот, как ты.

— Да что вы...

— Ей-богу, только этак пониже тебя, а волос такой же. Нашенский он был, простой. Да, простой был. Не знаю, для кого он там, как говорится, поет, а нам он простой был. Есенин и Есенин. Из нашей деревни. У Тани-монашки — мать-то его! — говорят, бывало, сын приехал. Ну, приехал и приехал. Не побежишь же. У меня их семеро на руках было — до Есенина мне! Говорят, решился, — прибавила она с тайностью, как будто это случилось вчера. — Да, милый, решился, говорят. Чего бы это ему?

Как было и о ней не подумать, не почувствовать ее долгую жизнь!

— Теперчи сказать, мать у тебя есть или кто?
— Мать. В Сибири.
— За Москвой, значит. В холодном краю.
— В холодном.
— Пишет мать-то, как, чего: молочко там, с продуктами — хватает?

— Как и везде.
— Да, как и везде. Ну, а сестренки, братики какие есть?
— Один я у нее.
— Один, да, один. Плохо, когда один. Когда много, глядишь, не тот, так другой подсобит. А ты вот, дай-ка, забудешь мать — и все. А у меня вот дочка в Москве, — вздохнула она и сгребла по клеенке хлебные крошки. — Еще подлить? Сына одного, старшего, убило на войне, да, убило сына. Один вернулся, живет тут недалеко, с бабой своей плохо ладит. Двойняшки были, схоронила в голодовку. Семеро было, а теперь одна.

И встала, ушла к печке, живо, с укором сказала:

— Ты вот тоже бродишь, интересуешься все разным, а мать там, дай-ка, плачет, дожидается. Вот зачем ты приехал сюда, чего не видал, не пойму.

— Вернусь, никуда не денусь.

— Вернешься. Это еще ничего.

На ходиках было уже двенадцать.

— Так это тебя Паранька ко мне направила? — спросила бабка.

— Вы про эту женщину?

— Ну да, про нее, баба она или девка, шут их сейчас разберет. Чего же она к себе не впустила?

— Тесно.

— Те-есно? Ай, трепушка! Я ей вычитаю. Тесно! Одна она живет, тесно!

— Баб Филь, еще что-нибудь про Есенина, — попросил я не слишком охотно.

— Что ж, милай, я кузьминская, а Есенин киньстинтинский, я, сынок, мало знаю. Про него больше в Москве знают, люди ученые. И то надо сказать: хорошие они люди были, хорошие, милай. Только вот решил он, чего бы ему?

Я смотрел, какая она старая и все еще неугомонная и насколько же она пережила многих помоложе себя, и думать, что они могли быть теперь еще с нами, было горько, потому что их не было с нами, и этого ведь не вернешь.

— Эк, дождь какой, — огорчилась бабка, щурясь на мерцающие за окном капли. — Протекает моя крыша-то в сенках. Хоть

чашечку подставить.— И побежала в сени, гулко обронила на пол чашку, хлопоча и разговаривая сама с собой:— Приезжал вот, говорила ж ему: «Сынок, ты покрой мне крышу-то, текет...» «Ладно, мама, я покрою, только ты мне поллитровочку поставишь, чтоб жена не знала». «Ну, поллитровочку уж так и быть». Дак он чего ж, сукин сын, сделал: половину укрыв и заколе- нился. Ишь, текет-то! Надо еще одну чашечку.

За окном по крыше, по ставням и по крыльцу мягко шуршит, лопочет ночной дождь. Шуршит, наверное, и по всей деревне, и по лугам, и под окном Параньки, которая проводила меня сюда, ушла, а я теперь думаю о ней. Шумит, льется и около дома, где давно уже нет хозяев, пусты и холодны комнаты в нем, не горит свет, никого нет и никого никогда не будет по ночам. Не встанет поутру мать, не поздороваются с улицы соседи, не запоют в снежный вечер задумчивую песню — никогда этого не будет в их доме. А дождь шумит, мокнут сейчас пристани, а я здесь, не сплю, томлюсь, мне хорошо, как никогда.

Я уже не задавал бабке вопросов. Сколько прошло с тех пор, так много было всякого — и забот, и горя, и у каждого свое,— что где уж помнить про все далекое и минувшее!

Я стоял на крыльце и слушал плеск дождя. Он стихал. Я пошел к калитке. Потухли по улице огни, и дома чуть проступали во тьме скользкими окошками и крышами.

Необъяснимая грусть одолела меня. Как-то все сразу увидел и почувствовал я. И счастлив я был, но о чем-то все же жалел. Почему так хотелось мне, чтобы из лугов доносился одинокий женский голос?

Ока лежала внизу за домами.

Я оттянул калитку и пошел по улице, в глубину деревни. Шел и все примечал, все вглядывался в ночь и не верил, что я уже в той самой деревне. Казалось, давно я уже где-то видел ее, давно-давно жил в ней и вот вернулся, узнаю ее снова!

Улица вдруг расширилась, справа подуло, запахло рекой. Я пробрел немного вперед и на левой стороне угадал в сумраке дом с табличкой. Тонким дальним звоном заколото мне уши. Боже мой, сколько минуло лет, да и было ли это на свете? Я стою перед окнами, перед дорожкой в огород, перед калиткой, и буквы на табличке слипаются в мутную беловатую полоску, но все-таки прочитываешь то, что не видно...

Все спят, и никто никогда не узнает, каким я стоял в тишине... Один, видно, раз бывает так в жизни. Один раз не возвращаешься даже к матери. А когда вернешься, увидишь, как она бежит к тебе, побросав ведра, и опять что-то пой- мешь.

«Сынок,— всплакнет мать у двери,— я уж думала, ты и не придешь. Ездишь где-то, как цыган, а чего едешь, один бог знает. На что оно тебе все? Навыдумываешь себе...»

Я подошел к Оке. Река мелко плескалась у берега и поворачивала вдали в сторону яра. Молчали, укрылись темнотой луга. Как прохладны, пусты они теперь! Увижу ли я их через год или позже? И как это будет? Каким я приеду, о чем подумаю, что вспомню?

И повторится ли для меня ночь ранней молодости, такая удивительная, благостная, почти песенная — ночка темная, ночка темная да ночь осенняя?

1965 г.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СВЕТЛО

Ты посадил меня на «Енисей» и пошел по своей Москве привычно-торопливым шагом. Может, ты думал обо мне, а может, вообще о чем-то ласково-летнем, но близком расставанию, потому что всегда так: проводишь кого-нибудь, и сам в мыслях помчишься куда-то к своим берегам.

Я удалялся от нашего короткого свидания на московских горах, глядел на первые подмосковные поляны, еще соединенный с тобой прощальными словами и сожалением, соединенный уже и с миром попутчиков, с солнечными зайчиками на пыльных окошках, на бревнах, с хмурой сибирской родиной, куда полетела с утра моя телеграмма. А ты шел по надоевшей столице мимо машин, мимо спрятанного во дворе страдающего Гоголя и домов, в которых живут знакомые постаревшие вдовы русских писателей, повторял, может быть, свое тайное выражение, что у нашей литературы остались одни вдовы, и тебе смертельно хотелось унести поскорее в белые чумацкие степи, к свежим ночам над черной дорогой, по которой, мнилось тебе во тьме, совсем будто недавно пропылили и княжеские полки, и калмыцкие кони твоих дедов, и тачанки.

Ты историк, ты чувствуешь, что истина не питается навязанными мгновениями. Ты ценишь древние, не всеми еще потерянные корни России. Ты ходишь, я знаю, в «Старую книгу» и всякий раз охаешь, впившись глазами в чудные названия, жалея, что нету денег купить драгоценности. А дома, едва появится кто-то хороший, вытаскиваешь из дальних уголков секретера антикварные томики и, воскликнув «А вот!», торопишься вслух сообщить позабытую правду — в надежде, что в госте твоём она отзовется так же сердечно, как и в тебе самом. Я уже понимаю тебя и легко представляю твои дни. Ночами ты часто просыпаешься и лежишь в одинокой думе. О чем она, дума? Ты не знаменит и не салонная звезда, но зато старые вдовы, наследницы отчаянно-великих страниц, нуждаются в тебе крепче, чем в ком-то другом. И ты сам-то не ведаешь, каким настоящим русским хранителем стал.

После утомительной службы ты иногда сидишь на закате в комнатах на Тверском бульваре или на улице Горького и не подаешь виду, как тебе больно оглядывать скромную обстановку гордых русичей. Наоборот, ты шутишь, и разыгрываешь, и потом невзначай попросишь бледные листочки с почерком творца, и скажешь, связывая ниточки бумажной папки: «Попробуем протолкнуть!..»

Я вспоминаю тебя и не пишу. Я пишу тебе мысленно, проветриваясь на осеннем затоне. Осень окутана желтым прозрачно-паутинным светом, и на окраине, в виду по-старинному мудрых полей, хочется вспоминать о великих. Хожу и говорю с тобой, потом еду дальним трамваем в однообразные Черемушки, ничего не вижу, не слышу, все говорю с тобой. На сиденье кто-то читает газету, и я случайно натыкаюсь взглядом на траурную каемку. Так неожиданно. Умер человек, о котором почти никто не слышал, пока он вставал каждое утро в московской квартире и сидел над исполнением своего святого долга или порою отправлялся в знаменитую усадьбу, озарившую его молодость. Я-то считал, что давно уже нет на русской земле счастливец яснополянской жизни. Нынче в словесности наплодилось так много сомнительных классиков, так часто их поминали и возносили, что я уже привык в провинции к мысли, будто они только и правят миром и будто им одним и обязана благодарностью просторная Родина. А человек, которого не стало сегодня, полвека жил рядом с нами, и не слышен был его голос. Умер последний секретарь Толстого. Еще не погребенный и уже навеки отданный царству небесному, он ясно-ясно видится мне. Внезапно рождается высокое чувство к нему и ко всем, кто так прожил. Только он один, возвращаясь к тульским лесам и оврагам, подходя благостным зеленым вечером к белой усадьбе, внутри которой мерцают к ночи похожие на старых хозяев окна барского дома, только он один мог потосковать и припомнить отпавшее так близко и наяву, как никто другой, только ему, почти с суеверным счастьем простонародья, шептали голоса забвенных гостей, гулявших и катавших в давности меж высокой травы... Понятно ли тебе мое чувство? Вот походить бы мне с ним по следам, послушать и перенестись туда, в дни бога в простой рубашке. Сегодня стоят у его гроба. И с обидой чудится, что при жизни редко у кого возникали бок о бок с ним тихая умирительная зависть и не по праздничным дням уважение. Странная, поздняя гордость отпущена русскому. Поздняя гордость, позднее сожаление и любовь к прошлому.

В тот же день умерла простая старуха. Ей было 166 лет, и я тут же прикинул, кого и когда она могла бы видеть, и слышать, и знать.

Она мыкалась где-то в деревне, молотила цепами, таскала детей, и мир ее был замкнут околицей. На Псковщине она могла бы встретиться Пушкину, в орловских полях напился бы из ее кружки охотник Тургенев, а в Ясной ходила бы она жаловаться к Льву Николаевичу. Как-то невольно, по-детски думает об этом, когда вспомнишь, что Россия полтора века влекла ее за собой. И если бы я подошел к ее изголовью и спросил, знает ли она, каких великих сынов пережила, она бы никого, кроме царей, господ и соседей, не вспомнила. Какая печаль!

Ни о чем не писал я тебе. И, наверное, зря. Может, в ту минуту, когда я думаю о тебе как о прекрасном друге, тебе кажется, что я позабыл тебя, и тебе одиноко. Я же на всех полустанках думаю о друзьях, покупаю конверты и, однако, пишу редко. Лето прошло, ты вернулся из чумацких степей. Кончилось и мое путешествие. Сейчас все, кому не лень, тащатся к заповедным местам, а ты посещаешь родную степь, мать, братьев и хорошо делаешь. Не люблю я рассеянное любопытство моды. Едут сейчас организованно, с комфортом, с отменными обедами в ресторане на второй палубе парохода, забывая, что истинное наслаждение в паломничестве одиноком и неудобном. Слава богу, я пока езжу по-своему. В пору облегченных экскурсий трудно уже поделиться впечатлением как единственно своим, и, возвращаясь оттуда, где я снова что-то любил, я отмалчиваюсь перед теми, кто до памятников старины обычно спешит еще постоять в очереди за европейской тряпкой. Я поздно сошелся с тобой, и в моих письмах нет постоянных напоминаний о том, как много лет жил я вечерней изюмкой по Константинову, по необходимости повторить свою поездку к Есенину, побродить теперь уже не только по его следам, но и по своим. Ну почему же и по своим? Да так, много чувства было тогда. Я, кажется, ничего не сказал тебе об этом и нынче, разве чуть-чуть, но ты скоро, по-братски уловил мое настроение, и напоследок, когда мы выпили на кухне по рюмке медка из польских кувшинчиков и пропустили, вставая, по кружке домашнего кваса, ты вдруг принес из комнаты белую папку с надписью и вложенными туда листиками. «Ради бога,— попросил ты в надписи,— помни это лето: продают за углом русский квас, на тринадцатом этаже играют Генделя, ты уезжаешь, я остаюсь». Потом я открыл в поезде папку и нашел перепечатанные с тщательностью, присущей тебе в любом деле, три письма Клюева к Есенину, очень давние, об очень старинных отношениях — нас еще и на свете не было. Конечно, не напрасно ты их мне положил. Поэтому я берег их и не заглядывал до того самого дня, когда можно было раскинуться на траве над Окой и удариться в воспоминания. Но

стихи Клюева я прочитал. Ты выбрал их специально, чтобы поделиться своими чувствами, которые трудно передать в глаза собственными словами. Я читал и думал о тебе и знал, какое слово ты бы мог подчеркнуть как свое. Не раз после работы, перед сном в маленькой комнате на тринадцатом этаже, ты взглядом выделял строчки: «Мы любим только то, чему названья нет, что, как полунамок, загадочностью мучит: отлеты журавлей, в природе ряд примет того, что прозревать неведомое учит». Сейчас пищут не лучше, и благодаря тому, что старцы пылятся в хранилищах, новое племя получило возможность ступить на чужой пьедестал. Ты нередко спасал меня от суеты и был рад, когда я направлялся к родному дому. Родные углы... К ним тоже привыкаешь, и, если живешь сильным чувством, они после радости тут же чем-нибудь огорчают. Мне уже плохо сидится дома. Первое чужое слово в письме издалика обманчивым своим тоном говорит мне, что я не успеваю жить. Там, где бросалось письмо, хоть на короткое время ты опять станешь новым, и новы, кажется, будут те же друзья, те же слова и те же закаты над крышами и тополями. Как, однако, год от году отвыкаешь от комнат, где ты спал несмышленным и тебе к изголовью подносили парное молоко, от приступок крыльца, на которых ты любил греться спросонья, от выросших сверстников, казалось, навечно незаменимых, до могилы верных бездумным играм и матерцинным историям, от дорожек из дому в город, из города в дом, на которых мелькали одни и те же, одни и те же лица, наконец, от родной матери своей, не мыслившей провести без тебя вечер, но тоже стерпевшейся, такой же кровной, дорогой и (зачем скрывать?) все же застланной туманом расстояний, живым отсутствием изо дня в день, украденной наступившими твоими заботами, женскими лицами, новыми голосами. А больше всего меня огорчала заметная возрастная перемена в людях, в сверстниках в первую очередь. Ведь в детстве, когда жизни, как небу, не видно конца, в юности, когда воображается вечное ночное свидание под черемухой, трудно поверить, что и нас обратят сроки: закружит нас жизнь, весенней травкой поднимется кто-то моложе, кому-то нетерпение и горячие губы, глупое счастье от лихости и кому-то из нас уже редющий волос, первые морщины, неудачи, воспоминания, болезни и даже молодое еще одиночество. И другие стихи стали мы подчеркивать ногтем.

Бегут наши шестидесятые годы, и мы, повзрослев, глядим на себя как бы издали.

Вот наконец-то побыл я дома; как увидел из тамбура Баранскую степь, так мигом всполохился: какую же родину я оставил! Обошел все детские местечки, дышал сибирским возду-

хом, с огорода глядел на заобские облака. Лето стояло душное, ставни были закрыты, улица точно спала. Часто сидел я на лавочке за воротами. Люди тянули свою судьбу без меня, заботились о детях, окучивали картошку, гуляли по праздникам — без меня, без меня, я в стороне другой внимал новым знакомцам, с ними срстался. Здравствуйте, здравствуйте, ответишь кому-нибудь, да, вот приехал ненадолго, да, оторвался от родимого края, что сделаешь. И человек пойдет дальше. Время удалило нас. И все же я люблю раннее и вряд ли научусь высокомерию. А такое бывает. Меня же им в юности осыпали сполна. Был я странно неподвластен бесстыдным ухищрениям по устройству судьбы и ждал чьей-то ласковой братской руки, но в той ханжеской среде, где я не потакал притворно честным товарищам, никто даром руки не протягивал. Надо было куда-то уехать, чтобы обнять друга. И уже было обещано встретиться нам с тобой через пять-шесть лет и молча сказать: «Здравствуй, я твой друг!» Да, нет пророка в своем отечестве. Если ты трешься в провинции и ночами колдуешь над песнями, никто из ближних тебя не признает. Если ты прогмишь в Москве, мелкоте это покажется странным, и долго-долго будут хмуро подсматривать за тобой и шептаться в злом неверии. А ты, в юности искавший их проворной компании, уже пошел и пошел от них теперь не только в сердце своем, не только сам, но люди и справедливая молва тебя понесли. И чем неустаннее соседские шепоты сплетников и лжецов, тем суевернее стучишься в далекие тонкие двери друзей.

В жизни, оказывается, так важен внешний успех. Но разве от этого человек становится лучше, нежели был? Отправляясь десять лет назад в Константиново, не сказав никому ни слова, разве менее чисто и нежно я думал, чем нынче? Наоборот, того не воротить. Сейчас у меня будут выпрашивать, а тогда я рад был найти такого, кто бы выслушал без важности. А что изменилось? Теперь я спокойно глядел на луга. Пожалуй, стал я чуть хуже. В общежитии я лежал ночью так же тревожно, как в константиновской кладовке у тети Ньюши, в десяти шагах от знаменитого домика. Кладовка была узенькая, на бочке стояла керосиновая лампа, щели пропускали закатный и утренний свет, тетя Ньюша не будила меня, потому что слышала, что я засыпаю в четыре утра, слышала, как в полночь шелкает задвижка, чиркают спички под окном и приезжий юноша уходит по туману к Оке, мимо вырубленного сада барыни Лидии Кашиной, зазывавшей когда-то к себе поэта нескромной порою. Я думал: вот приеду, расскажу обо всем кому-нибудь. Напрасно так думал. Одинокий, я иногда сокрушался: «Зачем я ездил? Не дико ли тащиться за сотни верст в какую-то деревню, спать в

душном вагоне на третьей полке, положив голову на трубу отопления, предаваться воскрешению старых голосов и походов и на минуту удручаться, как отстаешь ты и отстаешь от материальных забот, как вместо того, чтобы бить в одну точку и учиться «мудрости жизни», еще сильнее отравляешь себя видеями, которые ни хлеба, ни денег тебе не принесут. Зачем мне все это?»

Но, положим, иногда люди просто не могут попасть на одну и ту же волну или, уловив ее, пугливо уходят в себя, потому что привыкли к осторожности. Кто догадается, что творится в другом! Чуткие натуры, плененные старыми обычаями любви, стыдятся нежнейших своих дум, едва выйдут за ворота и столкнутся с внешней обыкновенностью быта. Они пишут на корочке книги своим милым по примеру давнишних барышень: «Любить себя я не прошу, на это прав я не имею, но если можешь — не забудь, вот все, о чем просить я смею» — и стесняются показать. Темна душа, недоступна, ищет-поищет сочувствия и замкнется в гордости. Вот и теперь я боюсь, что меня не так истолкуют либо коварно воспользуются моей откровенностью.

А хочется, очень хочется быть откровенным. Столько накопилось всякого за эти годы. У каждого почти лежит в недрах заветное слово — радостное или печальное. Русскому характеру были не к лицу недомолвки. Когда я говорю все, я чувствую себя человеком. Я потому и люблю Есенина, что он не умел притворяться.

Об этом я тоже думал на родине. Когда наступил черед прощаться, Серега Малашкин, сорокалетний чалдон, голова которого, казалось, была забита одним футболом, вдруг размякший от вечернего застолья и сочувствия к дальней дороге и к какой-то поднебесной, в его понятии, моей профессии, крепко сжал меня в сторонке и бойко сказал:

— Витя! Витя, земляк! Я, знаешь... ты, наверное, подумал, что я только выпил... ты... да что — я, конечно, необразованный, но кое в чем кумекаю. Мама говорила, ты скоро приедешь, и я тебя так ждал, поверишь, ну, думаю, с Витей переговорю обо всем. И стеснялся. Поверишь! Ей-богу, я стеснялся тебя, несмотря на то, что я тоже много знаю. Так хотелось взять поллитру — и по душам! А вот теперь ты через час уезжаешь, я выпивши, тебе с мамой надо быть. Ну, в следующей раз, Витя! Серегу извини! Ты понял Серегу? Серегу извини! Я кое-что почитываю. Я за сорок восемь лет, — набавлял он себе, — повидал кое-что. Описать — заплакать можно. Я человек такой: по морям, по океанам, но люблю Сибирь. Видал, как живу? Я машинист паровоза. Сел на мотоцикл — восемьдесят, девяносто!

Сел на паровоз: надо восемьдесят — даю восемьдесят, мне говорят — шестьдесят, а я — вот вам — даю восемьдесят. А почему? Потому. И во всем так надо. Ты, мама говорила, к Есенину едешь, а Сибирь не теряй. Чалдонов не теряй. Витя! У нас в Сибири так: пришел гость — на тебе! Видел, как я живу? Жену видел? Видел, что было на столе? Нет, ты скажи, чего там не было? Сына видел, красавец, чуб-парень? Здоровый, пожрать хватает. А хочется, чтоб и для души было. По сыну сужу, что душа просит. А что ей дать? Я тебя разве плохо встретил? Вот, Витя, у меня смородина, вот крыжовник, вот огурцы, помидоры, ранетки, все твое, кого люблю — того уважаю. Для души ты себе сам нашел. А мне хочется, чтоб и у сына было. Я вижу, я вижу, Витя, что что-то не то у молодежи. Не то, не такое, пуп крепкий, а в голове — шаром. Жалко, что ты не пьешь. Я пью. Крепко! Сергею извини. Я моряк, бывший, а моряки об этом не грустят. Правдивость люблю. Паровозы люблю! И лошадей. Витя! Как дашь восемьдесят, чувствуешь, как душа с небом разговаривает. Вот я тебя поцелую, земляк. Ты гордишься нами? Это — главное. Напиши что-нибудь такое, знаешь... чтоб на сто верст видно. Выдай, знаешь! Чтобы мы сказали: да-а, это действительно из жизни, а не то что раз — и мимо. Полетел высоко, но все-таки нет-нет и присядь на свою крышу. На своей крыше люди тебе всегда крошечку кинут. Пиши правду. Только. А наврать мы сами молодцы. Сергею извини.

Расстались мы горячо. Э-эх! Не вернуться мне домой навсегда. Такая моя доля. Как из чужой страны забреду на материнский порог, осмотрую углы и подивлюсь своей ужасной забывчивости в стороне. Сибирь, Сибирь. Родина, студеная чалдонская земля моя, зачем я покинул тебя? Детство мое, школа, весны и зимы, дожди, под которые мы выбегали с крыльца босиком. Огромная, неписаной тишины Барабинская степь и Чулымские озера, за которыми стелются и влекутся на запад воспелые центральные земли Руси. Туда, в край рассыпавшихся могил, глядел я в детстве со своего огорода.

Что понимал я, что знал тогда? Знал разве то, что там, в теремах и курных избах, началось русское летосчисление и еще в темные годы люди нашего языка сложили песни и книги великого смысла. Там бы и жить мне нынче. Все кажется мне, что там бы или в Сибири заботливее окружен был бы я и задрожали бы во мне поржавевшие струны.

Я не писал тебе и от матери. Впервые за последнее время все хорошо складывалось у меня: наконец попал я в откровенный круг, столько услышал умного и редкого. Да только по теперешней поре личным счастьем гордиться, пожалуй, стыдно. Не буду громким, если скажу, что за маленьким своим

удовольствием мы часто забываем обо всем на свете. Мы никого не помним, не сочувствуем горю, мы живем, наслаждаемся своей удачей, тешим свою хитрую душу временным превосходством над кем-то, превосходством от непомерного тщеславия нашего, тогда как на самом-то деле мы ничуть не выше других. И вдруг увидишь настоящее лицо и поймешь, что ты-то маленький. Так случилось со мной, когда я отыскал Ярослава Юрьевича Белоголового. Я ведь давно с ним знаком, с того памятного лета, когда я поехал к нему в среднерусский городок на Оке. Я любил и боялся его. Любимый мастер вроде бы и не человек для тебя, а бог. Как постучать к нему, что сказать, как обращаться с ним? Я кружил целый вечер возле дома, в котором он снимал комнату, переспал у старушки и утром издалека подсматривал, когда он появится на веранде. Он вышел к колодцу с ведром. Он шел и глядел в землю, волосы падали ему на глаза, он подгрребал их рукою, никого не замечал. Я застыдился, надо было подойти и представиться. Он шел по широкой мягкой траве, болтая ведром и низко клоня в землю голову, косолопя,— рослый, сухощавый, обыкновенный. Но лицо прекрасно! Счастливым, подумал я. К нему едут, ему пишут, его чтят. Он, кажется, все знает, все видел, все понял. И вот зовет меня к себе, греет чай и даже смущен несколько. С первого слова так просто с ним, хорошо. Впереди целый день с ним, он бросил работу и говорил, говорил. Рядом блестел свежий березовый лес, белый, сквозной, и среди этой красоты, как и в Сибири, в минуты неожиданного явления человеческих характеров, хотелось быть очень талантливым и воспеть свой край, своих близких, эти березы, это короткое наше пребывание на земле, наши никому не известные чувства, ожидание чуда, разлуку. На Оке гудели катера, пароходы шли в сторону есенинской деревни или оттуда. Вечером мы закладывали в самовар прошлогодние еловые шишки, курили на траве, и опять жалелось мне, что бог не отпустил вволю таланта и потому никакой песни я не сложу. Напрасны старания. Но вот уезжаешь, и в прощальный срок молнией сверкнет в тебе что-то свое и, кажется, осветит на миг всю жизнь твою, и мечты в ней, и то, как ты можешь передать все словесно бумаге. И кажется, поймут тебя, и обнимут, и заплачут над твоим горьким ли, сладким чувством, и сам ты вознесешься к небу. Таким я был на катере, отплывая в то лето, таким уезжал нынче от матери и таким был целый день, пока звонил тебе. Телефон не отвечал, ты гостил еще в степи, и я пошел искать Ярослава Юрьевича, вспоминая встречи с ним, его книги, всех похожих на него избранников, и постепенно, помаленьку — еще до встречи и особенно во время ее — летнее самодовольство мое сняло как рукой.

Найти Ярослава Юрьевича в Москве нелегко.

— Только что был,— ответят по телефону,— куда-то ушел с переводчиком.

Переводчики, корреспонденты, гости, приятели и всякие прочие шатай-болтающиеся.. Несть им числа. Звонят с утра до ночи, соседи уже смирились, что вечно звонят, приходят и уходят когда вздумается, на кухне непрерывно кипит вода в коричневом чайнике, высокий шумный жилец бегаёт за водкой, кричит в трубку: «Да, да, милый! Приезжай!»,— и никогда не закрывается у него дверь с тяжелыми шторами, остаются без него ночевать какие-то странные люди, старые и молодые, прилично и бедно одетые, и когда бедно — еще подозрительней, потому что у Ярослава Юрьевича выносить, кроме книг, картин и иконок, нечего, а у них и хрустальная посуда, и серебро, и всякое другое, да и шум этот, стихи, громкие споры надоели уже до смерти, и никакого спасения больше нет: милиция не отзывается. А квартиры ему не дают, видно, не очень-то заслужил и, видно, не слишком уж «гениально» пишет, как стараются уверять разные его товарищи. Но вообще-то сам по себе он не сказать что плохой, даже добрый и тихий, если не пьет. Денег никогда не считает, за все услуги платит сполна, детям носит конфеты, отдаст в дорогу первому встречному самую дорогую вещь и постоянно ищет куда-то пропавшие после бэсэд старые книги.. Часто живет под Москвой, но и тогда становится не легче: все равно звонят и спрашивают, и сам он звонит и просит переслать с кем-нибудь корреспонденцию. Иногда, раза три в год, корреспонденцию везу я. Я получаю ее от старушки соседки, которую Ярослав Юрьевич зовет н я н е й. Она знает о нем все. Они ровесники, но разговаривает она с ним, как с ребенком.

— Ты, Ярослав Юрьич, мне вчера что говорил? Вспомни, вспомни. Ты помнишь, откуда ты приплелся и когда? Я не посмотрю, что ты великий писатель, возьму вот эту половую тряпку да тебе по дурной голове нашмотаю, и тогда посмотрим, что останется от твоей литературы. И когда ты в носках перестанешь ходить по комнате, стыд-срам, носки дырявые, брюки неглаженные, пуговички на рубашке нет. Тебе прислали из Средней Азии за перевод деньги — куда ты их дел? Пороздал опять, дружки появились на мед? Великий писатель! А для меня ты не великий писатель, хоть выше Толстого будь,— для меня ты Ярослав Юрьич: спать не даешь, грязь носишь, комнату не проветриваешь, громко разговариваешь.

— Подожди, милая, когда я тебе так говорил? Что ты. Не

смея меня упрекать в этом. Я не великий. Я тебе этого никогда не скажу, грех, грех мне будет так мнить о себе.

— Вчера ж и говорил. Вот здесь. Где сидишь. Не помнишь? Конечно, где тебе помнить — сколько выпил: пол-литрой не обошлось. Ты мне деньги положил, сказал: «На, няня, попроси — не давай, закричу — не давай целый месяц». Три дня не успело пройти: «Няня, выдай из резерва десяточку». Зачем тогда давать? Не можешь сдержаться. Тебе роман надо кончать, а ты... О чем ты думаешь, Ярослав Юрьич, где оно, в твоей великой-то голове, настоящее соображение? Тебе бог столько дал, сколько тысячи других не имеют, и ты пускаешь себя по ветру, маешься, места себе не найдешь. Сел бы и писал. Чудак человек.

— Ты меня уважаешь?

— За что тебя уважать? За то, что ты в старой рубашке сидишь?

— Любишь?

— Не любила б,— улыбалась в таком случае няня,— не ругала б. Смешной человек. Поглядеть на твой вид — не похож ты на великого писателя. Возьми Тургенева на портрете — солидный, одет как. Или Шекспир твой. Я, конечно, толком не знаю, ну, наверное, к нему дружки такие не звонили: «Ярослав, Ярослав!» — попили и ушли.

Он задумчиво и по-школьному покорно качал головой, порою печально улыбаясь и думая о чем-то не таком уж простом.

— Тургенев... Шекспир... — повторял он за няней. — А ты, няня, любишь Тургенева?

— Не знаю, люблю или нет, я его только на портрете видела. Не до него было.

Там, куда направляла меня няня, кто-нибудь окружал Ярослава Юрьевича. На столе среди рукописей и книг, которых он читал множество, лежали хлеб, сыр, конфеты и возвышались головками бутылки. Как всегда, шел разговор о жизни, о смерти, о политике. Иногда я натыкался на очень славных людей, часто заставлял тех, кто обвораживал меня сперва, потом выявлялся совсем не таким. Зато всегда было радостно увидеть Ярослава Юрьевича с Костей Олсуфьевым, плотным, кудрявым другом с высоким лбом и круглым русским лицом. Однажды была с ними еще яркая дама в ажурных чулках, курила, подпирая локоть ладонью, американские сигареты «Кэмел» и обоих называла ласково, преданно — Славочкой и Костиком, обоих боготворила, но держалась наравне, и все-таки видно было, что главная страсть ее была где-то там, в своих не слишком тягостных обязанностях, и, кажется, для тайных минут нужны были ей другие, импозантные, спортивные мужчины, а для умных бесед — эти двое, не от мира сего.

Они уже пили чай, и Ярослав Юрьевич по обычаю топтался от окна к двери, говорил длинно и прекрасно, выходил на кухню, проверял чайник, продолжал, потом снова скрывался на кухне, возвращался, зажав кончиком пальцев дужку чайника, а в другой руке сминая булочку, которую он, видимо, позабыл надкусывать в разговоре. Был он еще трезв, не читал стихов и не кричал: «Ура! Я вас люблю!» Костю Олсуфьева провожали в Париж. Отпускали его впервые, и еще не было уверенности, что в последний момент что-нибудь не случится, однако с радости он сказал всем: «Уезжаю в Париж!» Посему шутили, импровизировали, сочиняли, как на аэродром явится провожать французский посол и как в Орли выйдут навстречу толпы поклонников, понесут на руках, а репортеры сбегутся брать интервью, и он их, старики, устало пошлет подальше, переоденется и пойдет по славным Елисейским полям, вспоминая великих писателей и придумывая дерзкую телеграмму на родину, Ярославу Юрьевичу. На всем был легкий тон иронии и воображения, и смеялись, как дети.

— И обязательно, старички, попаду на выставку охотничьих собак!

— Костик,— советовала дама,— если будешь покупать крючки, то спрашивай норвежские, тогда примут за настоящего рыболова; если скажешь: «Силь ву пле, мне французские»,— тебя не оценят.

— Старуха, они будут счастливы, что я зашел в их магазин.

— Купи розыгрыши, Костик. Мы купили много всяких: рюмочки, из которых пьешь и не льется, чернила — брызнешь на белую рубашку, и через пять минут пятно сходит, рубашка вновь белая.

— Нет, старуха, я куплю браунинг, есть, знаешь, такой пистолет, игрушечный, выстрелишь в нос, и человек погружается в состояние шока, и когда приходит в себя, не понимает, в чем дело.

— Книг привези,— сказал Ярослав Юрьевич.— В Париже много русских книг.

— Да, да, Костик. На улице Монтань Сент-Женевьев есть прекрасный магазин. Я купила там «Лолиту». Да! Ты ведь будешь как раз к празднику светлого воскресения Христова и в магазине Василия Ивановича Ростовцева можешь попробовать куличи и сырную пасху.

— Когда? У меня будут приемы, пресс-конференция, я поеду в Приморские Альпы, в Ниццу, в Марсель. А может, я еще не уеду.

— Ты позвони, Костик, когда узнаешь точно. Мы помашем тебе платочками. Честное слово. Я так рада за тебя. Наконец-то. Известный человек, переведен там и там — и никуда не ездил.

— Я чувствую, ты меня любишь. Спасибо.

— Я тебя сначала не любила, несколько раз видела за столиками, ну, молодежь говорит, я в стороне, а потом я прочла одну за другой все твои книги, и я действительно влюбилась, я часами, всю ночь напролет произносила речи о тебе, муж даже сердился, и с тех пор говорю о тебе всем переводчикам русской литературы, где только можно. Я о тебе говорила в Америке, в Италии, ты знаешь, там перевели все твои лучшие вещи...

— У меня все до единой одинаково хороши, — улыбнулся Костя.

— Допустим.

— А вообще, мы так мало друг о друге говорим и мало друг для друга делаем. В Париже, между прочим, я буду говорить о тебе, старичок, — сказал Костя Ярославу Юрьевичу. — Обязательно, старичок.

— Да бог с ними, — спокойно сказал Ярослав Юрьевич. — Я убежден, что мы там никому не нужны, что нами готовы спекулировать и потом забывать. Я не понимаю, почему писатели так наивны в этом отношении. У меня только что вышел роман в издательстве «Плэн». Самое старое в мире издательство. Масса статей. Езжай, Костя, я рад, только никому не верь.

— Я привезу тебе, старик, магнитофон, и ты будешь наговаривать свои прекрасные страницы.

— Я ухожу, — сказала дама, — и позвольте, я расскажу вам одну смешную историю, которую я узнала от Б-ва. Его пригласили на кинофестиваль в Европу с Л. Ну, Л., западник, знаток Парижа, бывает там по несколько раз в год, посоветовал Б-ву не прививать черную оспу в Москве, с тем чтобы привить в Париже и задержаться там на три-четыре дня. Они не стали прививать в Москве, прилетели в Париж, пока их не пускали, пока им впрыскивали, они пробыли три дня. Л. устроил Б-ва в меблированные комнаты, в центре. Он переночевал, проснувшись, за окном в тумане Сена, Париж, в постель несут ему завтрак.

— Сейчас не носят.

— Л. оставил его у старых знакомых, не спорь. Б-в выпил кофе, оделся, вышел из подъезда, смотрит — к автоматическому ящику подбежала француженка, опустила пять сантимов, автомат выпустил такой мешочек с конфеткой, девушка проглотила ее и побежала на работу. Б-в думает: что такое? Дай-ка попробую. Кинул в щелочку пять сантимов, развернул мешочек:

таблетка, положил на язык, приятно, кисло-сладкая, и отпра-вился, и так, пока шел, еще несколько раз бросал монету и глотал таблетки. Наконец встречает Л., рассказывает ему об этом, тот дико смеется и говорит, что таблетка от... зачатия. Так вот, Костик, ты не привози нам браунингов, игрушек, а привези это го...

«И вот она ездит по Европе, по Америке,— мелькнуло у меня,— а все остальные, в сто раз лучше, сидят дома. Может, она и не плоха, судить сразу нельзя, однако лучше ее-то сколько...»

Ярослав Юрьевич чуть заметно, как-то мудро улыбался, как улыбаются в затаенных думах чему-то слишком постороннему, не принимая чужих слов близко к сердцу, но и не осуждая за то, что людям весело и живут они по завету Горация: лови день. Костю Олсуфьева он любил за талант, хотя, может, порою считал, что стихийного таланта сейчас недостаточно и надо очень хорошо знать то, что ты делаешь и что должен делать, несмотря ни на что, и также что звезды, поэзия жизни, любовь к женщине, песенность, вечные проблемы добра и зла хороши, но на историческом фоне. Стихия вознесла Костю, и, если бы он чуть меньше любил себя, ему бы не было цены. Сам Ярослав Юрьевич слишком рьяно ругал себя, и оттого труднее было писать. Костя на двадцать лет был моложе Ярослава Юрьевича. Без Кости он бы не начал романа. Костя увез его на крайню и спрятал от дурных друзей. Все же они тайли друг к другу мужскую нежность, прощали взаимно слабости, не испытывали той притворной необходимости хвалить неудачное, что так водится между старыми знакомыми по цеху, когда из-за частых встреч неловко сказать правду в лицо; наоборот, орали и обвиняли друг друга до жестокости, пили и мирились и снова цапались, гремели стульями, крича и смущая покой окружающих: «А у Чехова, помнишь? Не-ет, старик, ты отупел! Ты потерял слух! Ты напоминаешь мне чудовищного графомана!» Первое время, когда бедный, безденежный Ярослав Юрьевич свалился как с неба, они часто встречались, без конца выпивали под Москвой, на охоте, в деревне, парились в бане и но-чами бродили по темным прекрасным полянам, а разъезжаясь, очень скучали. Тоска начиналась с простого — не с кем было пропеть романс Баратынского или с воспоминания о каком-ни-будь вечере при свечах: они для согласия долго подбирали но-ту и упрекали друг друга в отсутствии музыкального слуха и даже уходили, если были посторонние, тренироваться в ван-ную, откуда слышалось: «Не... не-е... не-е-е искуша-ай меня-я без ну-ужды-ы...», — целовались и плакали, уверяя, что все рав-но их запомнят и все равно о них еще услышат не раз. Однако же непростительно мало жили они вместе, ударяясь в свои забо-

ты и одинокие писания. А зачастую наваливалась такая черная тоска, адски больно было душе, и казалось, будто уже все, конец: конец надеждам и желаниям, уже никого нет на свете близкого, никто тебя не любит и никому ты не нужен, а все, из-за чего ты стонешь и меняешь места, никуда не годится, никем не вспомнится даже через десять лет, и новое младое племя имя твое назовет с отвращением или посмеется над бедным отшельником, потому что ты не угадал ни тайных слов, ни вздохов, не услышал ни колокольного звона, ни дальнего голоса, и, значит, зря ты страдал, спал на лавках на пристанях, хранил достоинство и зеленел от неправды и все ловил, ловил в полях немой зов русской земли, в которую ушли и великие и поганые. Но вдруг просыпался от явившейся сцены, и писал легко, страстно, и ликовал, верил объятиям, и письмам, и самому себе, и другу своему, которого не видел лет сто. И возвращалась нежность, чувствовал, как необходим ты на свете со своим скромным, но честным словом, и уже толпами шли будто навстречу с сочувствием те безымянные люди, которые теперь спали после трудной работы. И к другу хотелось.

Так вечно. Один бродит по лесу, другой на востоке у рыбаков, третий в Париже, в Индии, в херсонских степях, поврозь и поврозь, в то время как угодливые и откормленные всегда вместе, на одной огороженной площадке, тесно сдвигают после собраний столы, лижут друг друга и только успевают носить к машинисткам свои пухлые рукописи. Из провинции приезжали богатые дяди, которые давно променяли слово на деньги, входили в клуб и странно менялись, прятали местную выправку, не знали, куда приткнуться, и если с кем их знакомили, то было им стыдно произнести свое заштатное имя, и тогда они играли в «передовых», в прогресс, держась в душе все той же хитрости, выгоды и пробитой дорожки, и, подавая швейцару номерок, щелкали тут же монетой, и шли по Москве, чувствуя благостное освобождение от споров, умных слов, которые им все равно никогда не понадобятся. А тут надо мучиться, отказывать себе во всем. Сколько бы дней было украшено дружескими гимнами, безобидными побасенками и приятными сердцу мнениями о жизни, если бы судьба не отдаляла от ближних и если бы не так пространна была российская равнина. Однажды сидел он в подмосковном домике, читал на вечер Шекспира и лег поздно. Ветер шумел, пустота ночи, к томительной тягучести которой он давно-давно привык, напоминала ему почему-то высокий берег на юге, в молодости, в тот последний сезон их оборванного счастья, и он уснул так, уже не в силах ни сожалеть, ни мечтать лишний раз, потому что ничего не воротить, и спал спокойно, снилось черт знает что, и под конец,

перед раскатом грома, почудилось, будто умер его последний друг Костя Олсуфьев. Он по-древнему верил в предчувствия. Он соскочил, нащупал неглаженные брюки с подтяжками и никак не мог найти другой носок. Наконец он толкнул дверь и вышел на крыльцо. Ночью лил дождь. Вдруг ударило в голову воспоминанием о тысячелетиях и краткости человеческой жизни. Земля вымокла на многие версты, и на этой земле не было уже Кости Олсуфьева. И его охватило отчаяние. Музыка, романсы и мелодии, которые они напевали вдвоем, внезапно зазвучали в безразличной утренней тишине, зазвучали в его душе, и от наступившего сиротства качало тело. Он запахнул плащ и пошел по грязной дороге, впотьмах, в соседнюю деревню, куда Костя приезжал летом. Он уже не соображал, то ли представилось ему от одиночества, то ли правда душа угадала несчастье на расстоянии. Шесть километров он спотыкался о мокрые кочки и камни, ощущал свою недолгую теперь жизнь без друга, вспоминал веселье посиделки в клубе и договаривал с Костей, высказывался, жалел, что мало осталось писем, и почему-то искал виновных, думал опять о них с выстраданным презрением, хорошо понимая, что ничто никогда не приведет их к раскаянию и жертвам ради высокого.

А на рассвете занялась жизнь, женщины спешили с корзинами в город, и вокруг дома бегал в одних трусиках Костя Олсуфьев, кричал на белого лохматого пса.

Я рос без отца, а Ярослав Юрьевич был того же года, что и он. Ему исполнилось семнадцать лет, когда обносили вокруг памятника Пушкину гроб с телом Есенина. Он стоял в толпе. Он бы еще мог поехать в деревню на берег Оки и застал бы деда, мать и отца, в Москве ходили еще мимо и любили других подруги поэта — текли, словом, при Ярославе Юрьевиче те обыкновенные живущему дни, которые мне казались недавно старинными. Много веков летал я где-то над землей, не дышал и не видел солнца, и как же это я снова куда-то уйду, перестану смеяться и никогда не воскресну? Что было до меня? Так же росла трава, всходила луна, совсем молодой высокий красавец Ярослав Юрьевич жил, как положено в молодости, чистыми надеждами на счастье, носил книги под мышкой и на южном берегу собирал гальку, ловил крабов, ранними теплыми вечерами стоял с любимой актрисой возле причудливого памятника на древнем русско-турецком кладбище, говорил длинно и красиво о жизни, о любви, о поэтах. Молодость, любовь, погибшая юная дева под камнем. Молодость, любовь и чужая разлука, чужая смерть. Деве-то все равно, кто приходит к ней, ка-

кие слова негромко ложатся на плиты ее вечного дома, что написали ей на прощание и что напишут потом, догадываясь о ее судьбе и связывая этот вечер любви с личной судьбой и с образом милой актрисы в легкой шали. Ей все равно. Но, неизвестная и простая, она возродилась сперва в мраморном изображении, потом в строках, в воспоминании, потом в приснившемся живом ангельском существе, уже она и не она, просто женщина, образ, который любят в юности. В тесной своей квартире, годы и годы спустя, Ярослав Юрьевич вспомнил далекое напевным словом: «Пьедестал тяжеловесным золотом блистал и отдан был лирическим поэтам. Некрасов, Майков, Пушкин, Блок, конечно Надсон, Лермонтов, Плещеев, кто посвятил строку, кто десять строк, невесту провожая в дом Кошечев. И говорил лирический букет: люблю тебя, хотя тебя и нет». Кто она, кого он сравнивал после с юной девой под камнем? Актриса. Большого я никогда не узнаю. Старшим, которых любишь, слишком интимных вопросов не задают. Кое о чем постепенно догадываешься, но главная тайна все-таки остается. Я очень многого никогда не узнаю. Он, конечно, писал ей письма. Неужели это было, и неужели он писал ей? И кто теперь вернет берег, лодки, ночь, и слова, и то, как ее укачало тогда? А где его письма? Они сгорели, конечно сгорели. И вот он стар, и может так случиться, что от него ничего не останется, кроме писем, которых некому было сберечь, и кроме книг, из которых она не прочла ни строчки. А может, прочла? Ведь он всю жизнь писал женщин с нее. Он помнил ее там, где не держалось в обмороженных пальцах перо, да и не было ни пера, ни бумаги. Триста стихотворений умрут с ним, никогда никому не достанутся. Он так и не записал их: стихов своих он стыдился. Пока я рос и послушно повторял счастливые песни, он проходил великие круги жизни. И однажды, в тот день, когда кто-то протиснулся с миром и кто-то еще не появился в нем, мы встретились случайно — поживший и молодой, и он сказал мне, как будто я был ровесником:

— Милый друг, не называй меня, ради бога, на «вы», я от этого давно отвык...

Язык не поворачивался. С юности благоговел я перед божьими избранниками. Нередко дивился я легкости обращения мальчиков клубного таланта, изумляла всегда эта их манера бить по плечу седоволосых и выпрашивать троячок на похмелье с такой школьной непосредственностью, точно не было страшных границ возраста и точно мерилom уважения и приятельства была ранняя способность сосать водку, триста—четыреста граммов которой давали как бы право бросить большому таланту: «Да ну тебя, Ярослав, в...!».

«Талантливые люди,— говорил мне ты, мой точный историк,— они же все простецкие в быту люди, у них всегда, изви-ни меня, ширинка расстегнута».

Все правильно, только видеть панибратство противно.

— Ярослав! — кричали со всех сторон, подходили, и он, растрепанный, громкий, поднимался и целовал ни за что какого-нибудь борова, уделяя ему место за столиком, вынимал скомканные в горсти красные бумажки и бежал заказывать водку и закуску, а потом, разливая, просил встать и произносил страстную речь в честь кого-то.

«Зачем? — думал я. — Зачем такая щедрость понапрасну? И перед кем же?»

— Ура! — насильно выливал он в рот водку и забывал о закуске.

«Пить можно всем,— читал я на цветной стене строки,— необходимо только знать, где и с кем, за что, когда и сколько».

Теперь я стоял в буфете клуба и глядел на столики, на эту шутливую надпись аварца. Зал был полон, и казалось, не умолкал еще с того раза гул и звон ложечек, но за памятным столиком я не встретил Ярослава Юрьевича. Где же он? В углу, под рисунком Бидструпа, он, помню, размахивал руками и вспоминал памятник на высоком берегу. Тогда был и Костя Олсуфьев, помолодевший, в парижских золотых очках.

— Тебя читают в Европе с наслаждением,— сказал он Ярославу Юрьевичу.

— Да, да,— спокойно покачал он головой и сказал: — Меня приглашали.

За столиком, сверкая соблазнительными, чудными коленками, курили бог весть отчего просвещенные дамы. Они кем-то горячо восхищались, кого-то цитировали, и так было заметно, что цитировать и восхищаться легко, потому что это ни к чему не обязывает. Тот, кто лежал в могиле или где-то терзался в квартире, был просто посторонним, уже образом, полубогом.

Честное слово его, болезни, нелегкая натура, малый достаток — все вдалеке, на небе, не досаждая милым блестящим глазам, не трогая чудесных коленок.

Рано утром я иду на квартиру. На Сретенке есть маленький магазин «Старая книга». Самое древнее и ценное Ярослав Юрьевич купил здесь. На звонок мне никто не отвечает. Я нажимаю на кнопку все настойчивее. Нет, квартира пуста, и сосед, видно, на даче. Я мысленно проникаю в узенькую комнатку Ярослава Юрьевича, чувствую устоявшийся запах невымытых полов, вижу античные книги, портрет Шекспира, рисунки с чувственными и посвящениями, икону богоматери Одигитрии, и фаумские древности, и толстую антологию 1917 года, которую

он доставал с полки и выбирал оттуда что-нибудь подходящее случаю, например, старые слова забытого поэта: «Нет, долго думай ты, и долго ты живи, плачь и земную грусть, и отблески любви, дни хмурые, утра, и тяжкое похмелье — все в сердце береги как медленное зелье. И может, к старости тебе настанет срок пять-шесть произнести как бы случайных строк».

— Ну я-то, ну я-то,— вдруг говорил он,— я-то, неудавшийся поэт, понимаю. А ты, ты тоже без ума от стихов? Ты знаешь, за что я вас с Костей люблю? Не знаешь? За то, что вы на меня совсем-совсем не похожи. Понимаешь, какая штука. Ура, выпьем! Ура! И да долголетен будешь на земли. Ура!

С этим криком он и открывал всегда дверь, поднимая руки, целуя и затем топая в носках в свою комнату. На столе, под столом, по углам валялись тетрадки и большие листы, валялись его романы: неделями, месяцами, годами.

— К сожалению,— отвечал он мне по какому-нибудь поводу размышлениями,— вековая проблема буриданова осла — какая охапка сена лучше: левая или правая? — и ее подлинная неразрешимость виноваты по крайней мере в пятидесяти процентах жизненных неудач. Понимаешь, какая штука. Ты меня правда любишь? — Он улыбался, начинал ходить по комнате, наливал водку в чашечку, пиво в стакан и носил в пальцах вечный кусочек хлеба, забывая надкусить его, нервно тер щеки и глядел светлыми удлинёнными глазами на богиню Оди-гитрию Рязанскую на стене.— Понимаешь, какая штука, милый: не ладится у меня нынче работа. Понимаешь. Годы не те, да и надоело писать в ящик. Я потерял свое ценное время. Талант — вещь прихотливая, и, к сожалению, об этом совсем забыли. Ведь все расцвели очень рано, не то что теперь — ему тридцать лет, а он только «подающий надежды». Мы как-то разговаривали по этому поводу с Костей. Послушай, говорит, самым лучшим нашим писателям уже больше тридцати лет. Мы уже давно должны были написать свою Мадо-онну. Рафаэль в эти годы написал, Пушкин написал, Есенин написал, о Лермонтове вообще упоминать не приходится. Не обязательно гениальную, но сво-ю, но Мадо-онну, одним словом. Понимаешь, какая штука! Где бы ты пропел все, и после этого и умереть можно бы со спокойной совестью. Ни у кого из нас нет своей Мадонны. Не только в тридцать, нет и за тридцать, за сорок, люди наполучали комплиментов, но не написали Мадонны. Мы катастрофически отстаем не только от своего времени, но и от своего возраста. Понимаешь. Что ему было ответить? Я-то знаю, почему так происходит, я пережил это на себе, потому что мои цветущие годы пропали. Мне, наверно, дан был талант, и я страдал не оттого, что провел лучшее время на морозе, а по-

тому, что я не смог бы полностью развить свой талант, как и многие другие, и не просто ради себя, а ради того, чему с молитвой служил русский писатель. Вот такая штука. Литература — область, где пошлость не права. Разрешить этот парадокс в порядке достоверности невероятно трудно. Если, конечно, не заводить известную волюнку «в наше время не может быть...». Ведь пошлость — старое русское слово, и означает оно обыденность, обычность. Я думал, ты королева, а ты пошлая девица, писал Иван IV Елизавете английской. И необычное всегда очень плохо поддается изображению, оно кажется притянутым за волосы, высосанным из пальца, — трудно, поистине невероятно трудно, когда оглянешься на род человеческий, показать попранное зло и торжествующую добродетель. Материала не хватает. Так же трудно, как милиционеру, которому я писал сегодня объяснительную записку, трудно представить, что я, Белоголовый, человек, с твоей точки зрения, нежный и милостивый, что я, понимаешь, не хулиган, а всего-навсего не последний, имевший мужество заступиться за женщину. Понимаешь, какая штука. Пыхчу вот, извожусь над переводом. У меня роман в голове, а я должен перевести, это хлебец мой. Прости, господь, мои великие согрешения, но ничего более противного я в жизни не делал. Как будто пьешь касторку с сахарином, и она попадает не в то горло. Вот уж действительно «люди гибнут за металл!». Так-то, дорогой!

Опять хотелось послушать его. Ни жалобы, ни злобы никогда не было в его голосе. Чуть грустно склонив голову, глядя светлыми удлинненными глазами в одну точку, он говорил, говорил обо всем с мудрой выдержкой. Подпив только, оставив книгу на вытянутую руку, с изумительной страстью читал что-нибудь свое, зачастую одну и ту же страницу с пронзительными словами, которые кто-то произносил, расставаясь: «Ми-и-ла-я! Ми-и-лая ты моя-я!»

Еще бы раз услышать его, да где он, куда пропал?

Я звоню Косте Олсуфьеву.

Лето, проклятое лето. Никого не сыщешь в душевной столице. Через день, через два я тоже буду среди зелени, в лугах за Окой. Я звоню Косте еще раз.

— Старичок, — отзывается он, — не знаю, не знаю. Он совсем бросил пить, его теперь никто не видит, я звал его как-то, он не пришел, некогда, говорит, старичок, работаю, тороплюсь. А ты чего, старичок, раньше не позвонил, ты меня случайно застал, я прибежал на минутку, забыл, понимаешь, тут одну штуку, машина во дворе стоит. Ты вообще-то, старичок, скажу тебе, нехорошо поступаешь, писем не пишешь, не звонишь, сидишь у себя в провинции, коньяк, наверное, тянешь, а великих

писателей забыл. Нет чтобы, старичок, в ресторан позвать, по-сидеть, понимаешь, с лучшими представителями отечественной культуры, старичок,—шутливо ворчал Костя,—поговорить о разном, ты, прости меня, бегаешь по Москве и едешь по местам, воспетым Есениным. Ты, старичок, свое место найди, чтоб к тебе потом ездили, милый, вот так надо писать, да чтоб ездил и потом, а ты с графоманами у себя связался и забыл хороших. Каждый из нас должен иметь свое Михайловское, не затем, конечно, ты пойми меня, чтоб там табличку вешали после того, как загнешься, а для души, милый мой, для раздолья, и к народу-то поближе, открыто тебе все, понимаешь, никакой коммунальной замкнутости. Мы сироты по сравнению с классиками. Мы все командировочные, а люди раньше умели через какое-нибудь заброшенное Тригорское показать весь мир. Вот, милый мой, какие делишки. Без своего уголка ничего мы не создадим, хоть тебе мильон авансов. Ну что ты живешь где-то около гор, объедаешься фруктами? Тебе Россия, милый мой, нужна, Россия, где татары проходили, вот это твое, это звучит и пахнет, ты ж русский, русскому складу во как нужна древняя земля. Там и речь-то наша, нигде такой нет больше, нигде, старичок, это я точно говорю, нигде художнику так не раскрыть рот в восторге! Русь! Поезжай на Валдай, где я бываю, во, старичок, куда надо, ты узнаешь, что Русь там. Шутки шутками, а я еду на Валдай. А Есенину поклонись от меня, старух послушай. Ярослава не ищи, никто тебе не скажет, где он. Но если увидишь, скажи ему, что я его люблю и пусть он мне хоть открыточку кинет, потому что он пропал, старичок. Я на тебя сержусь, но, в общем, желаю тебе хорошего лета, ты напиши мне тоже. Попробуй в Царицыне найти Ярослава...

Помню, ехали мы в Царицыно зимой, полтора года назад. Подмоскowie лежало в снегу, мелькали теплые дачи, темноло, желтый вагон электрички помаленьку пустел. Поглядишь за окно, на белые поля, и опять почувствуешь себя временным, мимолетным. Все реже и реже за муравьиной заботой бывают минуты свидания с самим собой, беспрестанно топчешься и не-сешься, вечно кажется, что в суете-то и обретаешь себя. А потом идешь усталый по тишине и другого, чего-то осеннего и прозрачного, желаешь на свете.

— Я давно это понял,—сказал как-то Ярослав Юрьевич,—но в том-то и дело, что времена Оптиных пустыней прошли, впасть в постоянную монашескую созерцательность даже на старости лет просто невозможно — погибнешь. Не тот век. С удовольствием бы оставил этот порочный двор Цирцеи, как

говорил Пушкин. И терпения не хватит, и друзья с пол-литрой отыщут. А Михайловского своего — Костя любит напоминать об этом — у меня нет. Вот езжу при первой возможности в Царицыно. Понимаешь. Я не могу жить по частям, мне необходима долгая забывчивость, утонуть надо и долго не выплывать, тогда что-нибудь создашь. Нельзя же, право, ехать и ехать в поезде. И работаю я странно. Я пишу быстро и подряд. Иначе у меня ничего не выйдет, понимаешь. Я дописываю и начинаю править каждую страницу. Если я начну чистить сразу же, я никогда не доберусь до конца, ты понимаешь, какая штука! Поэтому я пишу без остановки, а потом семь-восемь раз сливаю грязную воду с каждого листа! Наша остановка.

Мы сошли.

Теперь я бродил по царицынским дорожкам без Ярослава Юрьевича. Где он? Вдали от него я начинаю мечтать, находятся слова для него, я не стыжусь, издали, неестественно общаюсь с ним и обретаю то состояние, когда он то есть где-то, то теряется вовсе. Вот, кажется, его нет совсем, и я хожу по местам, где он косолапо плутал по опушке и обходился со мной так, словно и я прошел великие круги жизни. Каждое слово теперь становилось воспоминанием. Легче находилось спасение, никто не мешал быть возле него с утра до ночи, и вообще теперь принадлежал он только мне, моей памяти, моим мечтам. Я спасал его от случайностей, я вроде бы мог способствовать его настроению.

«Как это легко, — думал я, очнувшись, — любить издали, любить через десять, двадцать, сто тридцать лет, когда уже никто в твоей любви не нуждается, а преданность твою за столом трудно проверить! Как легко заблуждаться и надеяться на добрую память! Мечты, сон, книжная мудрость. А в чем же не книжная? Посмотришь, легко некоторым быть вдовой, верной уже после смерти мастера, когда ей все почести за его муки. Легко найти правду на листе бумаги. А в чем же вечная мудрость?».

В такие минуты теряешься, и нет опоры для прекрасных, возвышенных слов. Люди кажутся то лучше, нежели о них думаешь, то подозреваешь их в нехорошем. Как не разбиться в жизни, а не разбившись, ежечасно остерегаясь ее ударов, как не засохнуть? Надолго ли хватит юной мечты? Хочется быть мудрым-мудрым, и хочется ясной, непугливой дороги. Но в чем же мудрость, и далека ли намеченная дорога? Возвышенная мудрость ночи и одинокого веяния полей так больно бьется о каменные ступеньки магазинов, столовых и заведений. «Меняю

мы,—повторял Ярослав Юрьевич Шекспира,—на почести и лесть то лучшее, что в нашем сердце есть».

Я ходил по столице, и меня толкали в проходах и на улице, и однажды, в самую трепетную минуту, когда я думал, как чисты и высоки художники, меня вдруг поразило слово «толпа». Нас было много в городе, и мы не замечали тайных переживаний друг друга. Каждый стоял и думал о своем.

Потом я плыл по Оке к Рязани. Опустились колокольни и вышки столицы, и надежда моя на свидание с Ярославом Юрьевичем отодвигалась к зиме. Я думал о деревне на горке, о доме, возле которого я стоял почти десять лет назад. Желтый вечер спускался к земле. Как будто изменился я за десять лет, как будто и нет. Как будто все уже знаю, как будто не знаю уже и того, что знал раньше. Отчего кончилось мое веселье, пока я искал Ярослава Юрьевича?

Я вскрикнул на пристани в среднерусском маленьком городке. Пароход подвалил, прицепился веревками, и я на горке, на фоне мягкой вечерней зелени случайно увидел его косматую голову. Я побежал к сходням.

— Как ты меня нашел? — спросил он растерянно.

— Случайно. Я еду к Есенину. Случайно увидел с палубы. Я целый день искал вас в Москве.

— А я, понимаешь, снял комнату, второй месяц обретаюсь здесь. Так ты погоди, забирай свой чемодан, переночуем у меня.

Он взял у меня из рук вещички и повел по траве к знакомому мне дому с верандой. Он стал неузнаваемо тих, брюки были поглажены, рубашка навывпуск придавала ему изящество. А то, что он обрадовался мне, даже вроде соскучился, и, подкинув мне на веранде плетеное кресло, посеменял за водой, потом забил еловыми шишками старенький самовар и стал расспрашивать, как и что, вернуло мне восхищенное умиление перед ним, перед всеми-всеми, на него похожими и в года былинные и ныне.

— А что, ты впервые едешь к Есенину?

— Нет.

— Вот, грешен, никогда не благоговел перед ним. Никогда не понимал его младенческой нервозности, кабатчины и некоторой даже распутищины. С молодости так застонать, заплакать и износиться — не понимаю. Не понимаю, потому что после него люди не менее нежные вынесли и не такое.

— Я замечаю, что вообще-то и писатели мало ценят друг друга.

— К сожалению, да. Но вся-то штука в том, что наши расценки идут совсем по другой категории. То, что обо мне ду-

мает какой-нибудь чиновник, несравнимо с самым крайним отзвонком обо мне самого злого критика. Я к этому привык. Занятие наше — дело глубоко одинокое, милый мой. Неблагодарное. А для некоторых литература стала средством «выйти в люди». Если бы эти «выдвиженцы» только путались под ногами — ну, бог с ними. Они же лезут наперед, унижая самое дорогое и чистое, и при так называемых возвышенных побуждениях не забывают и о самых низменных. А наша литература с древности несла в себе черты жертвенности. Иначе и быть не может. Возьми ты игумена Феодосия или автора «Слова о законе и благодати». Возьми летописца Никона. Мученики, изгнанники... Возьми ты Аввакума, Епифания. И так во все века. Пушкина убили еще как будто вчера. В нашем ремесле если сказать «А, Б...», то надо проговорить всю азбуку. Одной буквы не хватит — и правда исчезла. В мире еще убивают людей с трех шагов, а мы взялись воспевать бумажную романтику. Когда ты повзрослеешь, ты не будешь любить Есенина. Это милое, запутавшееся дитя. Я бы близко не подпускал к нему некоторых его друзей, этих чудовищных снобов, которые, одурев от тщеславия, солнце хотели заменить клизмой с розовым лекарством, между «мочой» и «зарей» ставили знак равенства и выдавали это за внутреннюю покорность творческому закону. Так нагло, так хамски изъяснялись перед всем миром, и это когда! Надо бы драть за уши тех, кто в тяжелые часы Родины с милой непосредственностью предается хохмочкам и высасывает из пальца новые формы. Пойдем погуляем.

Над лесом возрождалась луна. Белеющие дорожки вели мимо берез под горку, на дальние огоньки деревенских окон. Опять, опять со мной то же чувство. Едва окажусь в поле или рядом с прекрасным человеком, молнией пронесится внутри весь трепет жизни, и хочется быть талантливым и мудрым, чтобы все постичь, воплотить и отдать свою душу другому.

Мы шли и молчали. Вот русская ночь, березы, бесконечная жизнь полей, и вот мы вдвоем, на секунду задержанные в потоке мирового неисчислимого времени. Вспоминалась родина с дней своей колыбели, ее бег в тысячелетия, вспоминались князья, цари и безымянные мужики, которых никто не отметил в гербовниках. Хотелось обнять Ярослава Юрьевича за плечи и сказать что-то нежное, сказать, что он не один, что все равно его запомнят и будут приезжать на его следы, ходить по траве, взирать на русские остатки с тех же тропинок и думать, как водится у паломников, скорбно и просто: вот жили люди... И я молчал.

Ночь серебрилась на крышах.

— Смотрите, Ярослав Юрьевич, как светятся. Чернота дома и фосфор поверху. И бревна, как свечки.

— Хм...— удивился он.— Какие у вас с Костей глаза! Да еще Бунин был, он перещеголял вас, он видел и слышал на семь верст. А я, знаешь, не замечаю этих деталей. Не то что не замечаю, а забываю о них. Костя видит собаку, сбивающую дыханием одуванчик, ноги у его женщины стеариновые, прическа — крыло птицы, в листьях берез отражаются облака — какое упорство зрения, тонко нюансированные подробности! Я вижу целое, громадное в объятиях с громадным — луну, например, огромную, ясную, ее музыкальный трагический свет. Огромная луна, и откуда-то с тех холмов возвышенный крик: «Ми-ила-я! Ми-илая ты моя-я!» Ты посмотри, как просто вокруг. Ночь, круглая луна, кости под землей, и мне скоро шестьдесят лет, и я в этой истории, непременно в истории. Как у нас, в сущности, любят закатывать глаза горé и поднимать палец: «О-о-о! Какая сложная вещь!» Я же всю жизнь, с младенческих ногтей, понимал, что сложность — это порок и что разбитый писуар куда сложнее и непонятнее Венеры Милосской. Богатство — это другое дело. Но его берут только простотой. Остальное — слова, и ничего, кроме слов. Нечто вроде спора лисы и волка о том, кто из них больше любит медведя. Найти метафору и написать балаган с переодеванием чертей куда легче, чем сказать два-три простых слова, от которых бы видно было окрест. Придем домой, я дам тебе одну старую статью, там хорошо сказано и об условном блеске и обыкновенной мудрости.

«Милый Ярослав Юрьевич,— говорила ему переводчица из братской страны.— Вы такой большой-большой, кажется, будто вы объехали весь мир, все-то вы знаете, все видели...» «Да где же весь мир,— по-детски смущался он,— я нигде не был, кроме России. Кроме своей России. Ведь у нас заведено уж так — стараться увидеть мир с Тригорского холма. Я не разочаровал вас? Серьезно?» «Ну что вы, что вы, Ярослав Юрьевич, я очень довольна, что наконец увидела «человека из легенды», столько читала вас, переводила, я именно таким вас и представляла. Я вам желаю счастья». «Счастья»,— повторил он и склонил голову.

— Ах, Ярослав Юрьевич, Ярослав Юрьевич,— внезапно потянулся я к нему и положил руки на плечи. Я не посмел до-сказать. Понял он меня или нет, не знаю. Только мое беспомощное чувство не расстроило его, не вызвало элегии, он, вместо того чтобы поддаться моему младенческому сочувствию, неожиданно, со спокойной и сильной готовностью стал успокаивать меня:

— Что, милый, что? Грустно, да? Нагнал я на тебя стариковскую тоску. Не обращай на меня внимания. А вообще, скажу я тебе, надо жить и радоваться. Надо все-таки помнить Пушкина. Он умел. Все слова, все женщины вас ждут. Кто возьмет умом, кто лаской, кто тяжелым портфелем. А тебе — свое. Не надо по молодости выдумывать рыданий. Пой, пока поется, хочется плакать — плачь. Да, душа отыщет свое. Лет пять назад мы подгуляли и возвращались ночью из Муранова, от Тютчева. Ну, валяли дурака, пели, рассказывали анекдоты, острили, потом затеяли вспоминать эпиграфы, замеча-ательные, кто из Лермонтова, кто из Бёлля, Бруно Ясенского, Хемингуэя, Толстого, один прекраснее другого. И незаметно перебрались к стихам, ночью, при луне, в русской обители мудреца, да все рыцари пера,— представляешь, как звучит! И тут Костя после предышки стал в одиночку бормотать одну стариннейшую песню, начал как-то не слишком серьезно, вот, мол, старички, еще сказочка отцов и дедов, и за строчкой, за строчкой — каждый присоединился — кончили хором, путая, сбивая и поправляя друг друга. И вдруг! З а п л а к а л и. И от растерянности даже в глаза друг другу заглядывали: не я ли один? Заплакали, не стовариваясь. А я, понимаешь, не мог заплакать, потому что уже плакал много-много раз до этого и часто жил с этим... Понимаешь, какая штука...

— Имя мое,— сказал он вечером с улыбкой,— «и др.».

Кто вздрогнет из миллионов, когда однажды он сложит руки на груди? Кто захочет услышать его, да не услышит больше? Кто рад бы пожать руку ему, да не пожмет? И там, куда стекают дождевые воды, он никогда не узнает о сиянии своего яркого имени и о поздней благодарности поздних сынов. Буду приезжать я на среднерусскую равнину, тихо ступать по траве, вспоминать сегодняшнюю ночь, гордое лицо с удлинненными светлыми глазами, глубокое затишье окраины, где на веранде я мигом увидел подчеркнутые красными чернилами слова на мягком желтом листе:

«Старый французский писатель на ночь, лежа в постели, берет книгу Гете. Читает, перелистывает и, наконец отложив книгу, обращается к Гете с вопросом, но тут я, конечно, принужден цитировать по памяти:

«Ты,— мысленно говорит писатель,— ты, человек, долго живший, так много видевший и знавший, так много думавший, чему ты можешь меня научить, без парадоксов, без условного блеска, без красивых слов и звонких фраз, без стихов? В чем твоя настоящая, последняя, не книжная мудрость?»

И писатель отвечает за Гете:

«Делать в жизни свое дело и вложить в него хоть маленький разумный смысл. Не сражаться с ветряными мельницами, не донкихотствовать, не потакать улице с ее вечно сменяющимися требованиями... Нет, забыть об улице, не думать о ней. И по мере сил способствовать осуществлению беспорных положений добра. Их немного. Веречь их как сокровище».

Утром Ярослав Юрьевич проводил меня к пароходу.

— Ну, напиши мне,— сказал он,— с есенинских лугов. Будь счастлив, дорогой.

— Вы долго здесь будете?

— До осени. Надо работать, времени уже осталось мало. Раньше, когда хоронили, клали под голову подушку, набитую древесной стружкой. А нам надо писать так, чтобы под голову положить еще и неопубликованную рукопись.

Мы поцеловались, он тронул меня за плечо, коротко поднял руки и пошел, согнувшись, глядя под ноги, и в эту минуту на пароходе пустили магнитофонную запись: «Тополя, тополя, и, как в юности, вдруг вы уроните пух...»

Я отвернулся, чтобы не заплакать.

3

Было 6 июня.

Как только повернули от яра к косогору, я увидел берег, белую дорогу к деревне, где я жил тогда десять дней в неповторимом настроении, сразу защемило, закололо, и сразу же подумалось: вот ушло десять лет, и уйдет еще больше, и никого не будет, ни-ко-го, только берег, трава, Ока и где-то в земле останки живших. Вот был я здесь, был и себя теперь вспоминаю. Был ребенком, наивным, верующим, сиротливым, и какое же утешение я получил в тогда еще естественно заброшенной деревне — да, таким больше не быть!

То ли окно тети Ньюши? Оно глядело на усадьбу барыни, туда он ходил, и, может, там, в самом начале причащения к женской тайне, обещали крестьянскому мальчику славу женские глаза.

Стояла пасмурная погода. Как и тогда, осенью, десять лет назад. Как и тогда, облезлой верхушкой маячила заваленная мусором церковь, и пуста была площадь. На церковь, на пово-

рот Оки засматривался я из тети Ньюшиного окошка в августовские дожди, и во всей деревне был я, наверное, единственный из приезжих. Всегда странно бродить с отрешенными чувствами мимо обычных примет жизни: кто-то доит коров, тащит на плечах тяжелые корзины, с рассветом бежит в лес с пилою, а ты с праздным восторгом наблюдаешь со стороны, воскрешаешь пропавшие картины и какой-нибудь Параньке приписываешь в забытии и мечте свои чувства и отзывчивость на твое тайное желание кого-то повстречать, с кем-то разделить умиление. Будничное оскорбляет.

По вторникам в Константинове был базар. Паранька, которую под окном пустившей меня на ночлег бабки Фильки я в первые минуты посчитал прекрасной, торговала яблоками. Я поздоровался, и она спросила, как мне спалось. С того вечера я нигде не видел ее, хотя очень мечтал, переправляясь в луга, натолкнуться на нее у реки, где поят коров, или вдалеке у леса, вот так, случайно и ненадолго, но с обещанием позднего свидания за тьмою жилого. Тут я воображал старину, покосы, колядушки, песни, и почему-то она, Паранька, должна была принести с собой давно забытое, чисто русское, пленительное, тем более что оно сполна досталось ее нежному земляку,— это любимое мной разстворение в ночи, когда луга, реки, пустынные дороги под звездами того и ждут, чтобы мы пришли с приметами и суеверием, шептались и были близки и открытвенны с кем-то похожим на нас, кого мы ждем, выдумываем и редко видим.

Я спал в кладовке, просыпался и ждал, когда же наступит необыкновенное. Порою страшно делалось по ночам. По ночам подступали самые тайные мысли, и на рассвете угнетала растерянность. «Что я, кто я? Что мне назначено, по какой дороге пойду я, кто будет любить меня, кто ненавидеть? Почему никто не приходит ко мне, не слышит меня, почему трезвый день мне терзает душу во тьме, когда я не живу, а лечу, как писали, под облаки? И зачем же в конце концов мне эта деревня, что пригнало меня сюда под дождем, чем это кончится и откуда такая непонятная мне власть чего-то тайного?» — думал я в кладовке, вспоминая, с каким упорством продолжается внешняя грубая жизнь. Становилось жалко себя, напрасными вдруг казались мечты. Мечты опережали меня, одни они и обволакивали душу тогда, только они и вспоминались в нынешний раз по пути в Константиново. Вновь, на минуту, становилось жалко себя. Не так вроде бы жил, мало видел, ничего не успел.

Жил одним чувством. Уже вижу себя со стороны, в тридевятом царстве, гляжу на константиновскую горку с дальнего да-

лека: на горке стоит парень в затертом пиджачке и дешевых ботинках, и этот парень то понятен мне, то нет. Это я сам, за десять лет себя позабывший. Странно и тяжело было теперь надеяться ушедшее десятилетие вековой отдаленностью, как вообще странно представлять, что через пятьдесят — сто лет постоит кто-нибудь после нас на сбереженном холме и воскресит воображением наши древние дни. Было же время когда-то, подумает. Было же время — хотел бы я воскликнуть из тьмы через сотню-другую лет, когда лежал я в кладовке у тети Ньюши и не загадывал о черном сне. Я собирался жить вечно, я думал, что никогда не кончатся для меня рассветы, что еще долго-долго, вечно буду я странствовать по земле, без конца приезжать в это высокое село, и не настанет срок ложиться лицом на восход. Но опыт учит. А то юное чувство и было необыкновенным. Оттого не случилось свиданий за околицей с Паранькой (она поздоровалась и позабыла меня), не ходили мы, как водится в счастливой любви, по траве и близ воды не стояли. Оттого не мог я найти слов, когда старики меня спрашивали: «А почему тебя это интересует?» В домах чистили картошку, берегли свои семейные предания, продолжали свой род, и только у резных наличников никто не поджидал своих детей. Была жизнь! Была, отшумела. Так и про нас скажут. Так, может, дальний родственник или престарелый друг и под моим окном постоит когда-то. Скажет: было — прошло, было всегда и всегда так будет.

В тот последний год Есенин прибыл в деревню 6 июня. От станции Дивово он шел, наверно, пешком. Он не любил ждать. Ждать попутной телеги на родине тем более было невыносимо. Шел он полями, торопился: на возвращение всегда возлагаетесь столько надежд. Что-то придет, нахлынет, усыпит, отмучается. После утомительных вздыханий по желанной ширазской древности опять та же луговая сенокосная сторона с простыми бабьими платками и долгим светлым русским вечером на крыльце. Опять! Опять редкое (с каждым годом все реже) свидание с пропавшими днями. Идешь — ты это и не ты, вчера еще шел с боязнью к Москве, простой и хороший, никому не нужный, некому было встречать, не просили писать письма, а нынче все зовут, лезут в друзья, и домой не соберешься. Только на деревне ровно ни к чему его слава и не до него людям. Ньюшка Хрякова встретила первой, поздоровалась, спросила что-то неважное и вечером сказала, наливая уставшему хозяину полную тарелку супа с кусками сала: «У Тани-монашки Сергея приехал. Одетый куда с добром...»

Тетьа Ньюша Хрякова, пожилая высокая женщина с прямыми плечами, обстоятельная и раздумчивая в ответах, усаживалась по вечерам рядом со мною и рассказывала про старину, изредка заставляя что-нибудь вспоминать своего тихого мужа... Иногда, не доверяя себе, начинали перебирать соседей — кто знает больше, кто знал, да умер, кто просто врет, и к нему ходить не надо. Слышалось в основном одно и то же: «...веселый... с легкой походкой... выпивали... луга любил...» — и я не мог его представить живым.

Я то глядел из комнаты в окно на угол старой барской усадьбы, то бродил по деревне. Робко заходил в избы и заставал в сборе почти всю семью с хозяином и внуками и объяснялся, все надеялся: авось, скажут интересное. Вопросы мои как бы нарушали обыкновенный ритм жизни хозяев, и я боялся помешать им. «Да, знал, как же,— откладывая хозяин ложку и просил у жены полотенце,— помню...» Было грустно, а человек казался древним, особым — и все из-за того, что он был просто соседом поэта. Я уж думал по пути, что все умерли, а когда старики вспоминали его — мальчика, юношу, молодого, — постигало состояние, будто деды вспоминают внука. И с портретов глядел нежный мальчик. Как с ковра-самолета, оглядывался я с холма на зеленые луга — заколдованное временем место пахарей и сенокосцев. Там, на полуострове, возле Старицы, в утекшие дни белели на шелковой траве бабы платки и сверкали потные мужицкие спины. С высоты и правда обретается ощущение старинной картины. Катилась с горки по веснам ручьями вода, переливалась Ока через край, и плавали по сырым лугам облака, и над водою, в смутной тоске по судьбе, ходили молодичицы и просили взойти ясный месяц, обнажить дубраву и показать степные дороги, по которым повел бы их милый. Падали звезды на землю — мучило женское счастье, падали звезды в колодец, в Оку — выходили девицы замуж. Рано встречали солнце. Рано провожали сына в поход, рано умирали в дороге, рано будила девица милого после тайных свиданий, и на серой заре плакала девица по своей молодости, замечая, как падает под ветром с вербы роса. Как дождливым вечером тянутся из-за яра тяжелые тучи, как по тонкому черному снегу прилетают с желтых земель птицы, так со всех четырех сторон шло изда-лече время и растворило мальчику двери в свое царство. И уви-дел он небо, воду и землю и услышал дедовскую сказку перед темной ночью. И узнал он тогда, что любимое место русалок — березы, и так с ранней жизни насытился сказкой, что, когда шел от станции Дивово уже после заморских стран, душа воз-вращалась к старому чистому чувству, и хотя бы смутно, хо-тя бы стороной, но пролетали перед ним несусветные образы —

мостили кому-то перстневые мосты, ставили золотые столбы, вешали шелковые ковры, и за руку вел кто-то девицу: мосты зазвенели, столбы заблестели, ковры заколыхались, и загорелись восковые свечи... Ока неохотно поворачивала от яра, вытягивалась вдоль берега, мимо деда Федора Титова, где столько раз пели по всякому случаю про все такое, что было когда-то, было до него, что донесли к нему и в него вложили, сами не замечая того. Зачем он покинул их, зачем променял на манифесты и застольных хохмачей?

6 июня опускалось за Окой, за лесом солнце, рано потемнели окна, пробежала с ведром соседка, а вокруг, постарев еще на день, вечным сторожем обступала природа... Взошла и упала в Оку луна, волны катили ее, но унести не могли... Деревня не была больше островом, за которым таится незнамо что,— он ведал, куда уводят дороги. Немножко грустно было от потери прежнего таинства. Лунная паутина висела над яром. Когда сманила его барыня в яр, думал, что сердце разорвется от любви — к ней ли, к кому-то, и когда зашелестел в лесу дождь, скрыл луга и теплый дом с матерью — думал: никогда это не забудется. А по столицам будто только и ждали его другие...

Он стоял у калитки предпоследний раз в своей жизни.

В темную летнюю ночь верится в загадочное счастье. Когда-то Люся, провожавшая меня с моря и более уже меня не встречавшая, набросала на чистом листе черточки, палочки, дужки и просила подрисовать к ним что придется, по настроению. Я изобразил женщину, тополь, бугорок, месяц, окно и забор, беседку, речку и лопату. Ко всему этому надо было еще нарисовать слона.

— Ну какой ты молодец,— сказала она,— как хорошо нарисовал!

— А что это?

— Психоанализ по Фрейду. Слушай. Живешь ты в рамках естественных ограничений, и по тому, как ты нарисовал слона, ты очень живой и довольно прочно, хотя не совсем, стоишь на ногах. Удивительно: ты первый, кому я задаю, нарисовал женщину. Это природа, ты естественный, близок к природе. Что значит для тебя твоя карьера, как твоя звезда? Это тонкий месяц на небе. Это изумительно. Любовь — окно в мир — настолько сильна, что ты любовью отгорожен от мира. Дом для тебя — это беседка у речки. Что тебя ждет? Лопата, труд. А я себе все перечеркнула в этом месте. Смотри, как похоже на тебя!

— Да это неправда,— сказал я.— Мечта, сон, ворожба.
— Научная ворожба. Ты не читал Фрейда? Никогда?
— Нет. Не читал.
— Ты вспомнишь меня, все сбудется.
— Хотелось бы поверить. Судьба — месяц на небе, приятно, хотя есть в этом что-то короткое. Очень уж поэтично. Хорошо, я запомню.

Я стоял на горке над лугами и вспомнил гадание по Фрейду. Сбылось ли хоть что-то? Не знаю. «Смотри, как это на тебя похоже!» Мне друг говорил: ты попробуй встать с постели и взглянуть на себя со стороны: ходи по улице и гляди на себя как на чужого, ты откроешь много любопытного. Я гляжу назад, в юность, там я себя вижу как чужого. А сейчас не могу. Мне уже тридцать, и неужели правда, я переступил рубеж светлого царства молодости? Конечно. Чего-то уже нет у меня. Ну что ж. Да благословит время на мудрость, и пусть поищут новые годы мне счастья — без снов, без гаданий, без надежд на чудо.

Он спал крепко, как всегда в деревне. А перед сном высоко кралась над яром луна, и снова было так тревожно-прекрасно вокруг, что хотелось кого-то позвать и хотелось любви и слов, которые произносятся вдалеке, в одиночестве. Он столько раз прощался и с любовью и с молодостью и ставил точку, но вдруг настигала полевая мечта. Что было, казалось, было не так, или было слишком мгновенно, или обещалось загаданное, но являло свою прелесть не в пору: то он жил в стороне, то отравляла сладость нервная суета. Забыть ли, как сливался с Даниилом Заточником? «Яви ми зракъ лица твоего, яко гласъ твой сладокъ, и уста твои мед источают, и образ твой красен, послания твои яко рай с плодом; руке твои исполнены яко от злата аравииска; очи твои яко источникъ воды живы; чрево твои яко стог пшеничен, ниже многи напита...»

Что посылалось в молении князю, он принимал для любимой.

Мечты, мечты...

Вот здесь я стоял прошлый раз. Посреди улицы, в тумане, в полночь. Вон там, в бедном ларьке, я покупал селедку и бутылку водки, чтоб попрощаться с хозяевами. В клубе я сидел в уголке и следил за скучным гармонистом, пиликавшим три раза в неделю за небольшие деньги. А под горою за садом я писал письма и ощущал окрестное так, будто расставался с жизнью.

Разве мало по России похожих лугов, и разве не нашлись бы, казалось, у тебя самого те же слова, разве не носил ты их в себе где-то по другим полям и почему-то вдруг не сказал, не вспомнил? И разве дом с табличкой менее обыкновенен, чем соседние, и не та, что ли, жизнь, не те, что ли, люди пережили длинные годы? Но отчего же затмило сознание и отчего же не в силах представить живые подробности, не слышишь будничного голоса певца, не видишь его простым, как слышишь и видишь друга? Не мог и не смогу я представить великих в обыкновенной одежде, в быту. Вот и теперь летит над лугами, над тысячеверстной зеленой русской равниной чистое небесное диво России, впервые закричавшее в ногах у матери в конце века. Мальчик из сказки, и я не могу расстаться с ним, и кажется порою не вижу ни одной реальной черты. Так было. Там, на конце села, измученный полуночным воображением, я думал, что и он тут стоял, и потому иначе дымился для меня лес, и хохот девчат напоминал мне вечерние побаски и любовь у стогов, в поле, с суеверными приметамы старины: упала с неба звезда и рассыпалась, и девица собрала ее в горсть, заткнула себе за волосы и пошла по воду, сверкая и радуя милого... Кому-то досталась глухая свежая ночь на просторе... Я же стоял один и верил в безумие. Знакомо ли тебе, друг, то возвышенное состояние у святого места, когда кажется, что, куда бы ты ни вернулся, тебя выслушают, и поймут, и поверят? Я надеялся на это, когда трясся на почтовой тележке до станции Дивово, когда снова лежал головой на отопительной трубе вагона, когда шел желтым полднем по зеленым аркам казачьего города, которого в путешествии для меня не существовало, надеялся на крепкую взаимность с теми, кто волей-неволей толкался со мной на одной улице. Там, без меня, наверное, многое изменилось за лето, и я буду легко продолжать в душе свое странствие, и никто не испортит мне настроение. Однако расчетливому кругу нет дела до нашего трепета.

— Он ездил к Есенину? А что ему там делать?

— Ему дорог Есенин? Ну, конечно,— что-нибудь про до печенок меня замучила, это?

— Не говорите мне о его путешествии! У него нет и ничего не может быть за душой!

Теперь я на них не надеюсь. Но легче ли стало?

— А я вас сразу узнала! — воскликнула тетя Ньюша. — Вы жили тогда у нас десять дней и оставили свою чернильницу. Мы по ней часто вас вспоминали. Я теперь одна, мужа похоронила, дети далеко, а вы тогда к нашему Сергею Есенину приезжали

и вот здесь сидели, там спали. У меня память хорошая. Я как глянула: кто-то идет знакомый, а это вы! Сколько лет не виделись. Я так и подозревала, что вы все равно приедете, ведь я помню, как вам тогда у нас понравилось. Теперь легче: музей, пароходы подходят, а той осенью вы с грехом пополам с почтой отправились. И вы такой же молодой, ну, возмужал, конечно, небось, и женат уже? Сергею Есенину исполнилось семьдесят лет, тут такой праздник был, миру съехалось со всего Союзу, я думаю — ну это Виктор не знает, то б приехал, или работает далеко.

— Да я, тетя Ньюш, не люблю такие поминки. Выступят, походят, пожмут родственникам ручки, а потом в ресторан завалятся, на баб будут глядеть и тому подобное. Я уже видел такое поклонение. Десять лет назад здесь никого не было. Одному лучше: ходишь, думаешь.

— Чернильница ваша вон она, так и стоит на окошке, как письма писать — вспомним вас. Да, а народу было — мас-са! Раньше действительно редко кто приезжал, только те, кто писать о нем хотел, выпросят, и домой, тихо было, не поминали и по радио не передавали, а нынче и по радио, и в газетах, и машин понагнали...

— Когда я учился, мы вместо Есенина читали на вечерах Демьяна Бедного и Маяковского.

— Вот узнал бы Сергей, как его оценили. Отец с матерью, бывало, против были: «С Горького, босяка, пример берешь? Толстой, так он барин, у него земля своя, прокормит, а ты?» Он не послушался,— и вот любят. Теперь и пароходы останавливаются, пристань сделали, в доме у них пообставили. Мой сын учился, ну, говорю, Сергея-то проходите? Нет, не проходим. Почему? Чего он плохого сделал?

— Вы разве не чувствовали?

— Ну, как тебе сказать, Витя: чувствовали, чего можно, чего нельзя. Мы ведь люди простые, своих забот много. Что касается поэтов, так мы вовсе: не печатают и не печатают, то ли бумаги нету, то ли не нужен стал — бог его знает. Жизнь закрутит — и забудешь про все. А и у нас тут объявились друзья только недавно, а то тоже не больно разговорится, хотя бы и этот,— она назвала по фамилии,— он только сейчас вспоминает, подчитал кое-где в журналах и выдает себя за друга, чего он там помнит: в школу ходил с Сергеем два года, в бабки играли, «вот он на меня, а я его как повалил», вот и вся дружба. Вы же его знаете. Бред собачий. Я знала их семью, не вру. Не хочу хвастаться, но я своим простым глазом выделяла его ото всех. Не простой был человек. И барыня Кашина недаром его к себе зывала. Теленочек-то молоденький был, красивый. Его и в

Москве-то сразу обкрутили, вашего брата недолго прибрать к рукам. А я ведь, Витя, тебе все это рассказывала, однако, десять-то лет назад? Ты, как сейчас, у окошка сидел. Молоденький был. И все равно я тебя сразу узнала! Умывайся, вешай пиджак, койка твоя, я на ней не сплю. Будь у тети Ньюши как дома. Мама-то жива? Жалей, жалей мамку. Как вон Сергей писал, а она потом тридцать лет одна да одна жила... Никому ровно и не нужна была.

«Я холодею от воспоминаний,— жаловался ему Ключев в письме, которое я читал, лежа в лугах,— о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей публики. У меня накопилось около двухсот газетных и журнальных вырезок о моем творчестве, которые в свое время послужат документами, вещественным доказательством того барско-интеллигентского, напыщенного и презрительного взгляда на чистое слово и еще того, что салтычихин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русско-го общества».

Теперь причаливают белые пароходы. Они плывут издалека, по другим рекам и наконец достигают узкой Оки. С вечера, когда загоняют в деревне коров во дворы, кто-то, еще блуждая поворотами, мечтает на палубе о завтрашнем свидании с Константиновом, в котором задержится на несколько дней, чтобы подумать о жизни острее, а другие, пользуясь случайным совпадением, степенно обойдут во время остановки комнаты и огород музея, купят яблок и вишен и поплывут как ни в чем не бывало, завершая оплаченное туристское удовольствие в дорогой каюте.— счастливые, спокойные и вольные на язык только в дороге.

Я часто спускался к пристани. Тетушки приносили в корзинах вишни и яблоки. Они сидели на земле друг подле дружки по обе стороны тропы, и у последних брали хуже, чем у нижних. Они были пожилые и очень-очень простые, и я думал, жадно наблюдая за ними, что, когда он возвращался домой, они были еще маленькими, а дед, застрявший среди них на коленках, наверное, годился в ровесники, и тогда вообразить даже не мог, что к старости его так повезет дому Тани-монашки, такой же соседки, как все, и повесят в ее комнатах картины, плакаты и койку застелят старинным покрывалом на диво далеким людям, бормочущим стихи, которых он не запомнил, потому что читать было некогда.

«Где же хранится тайна любви, печали и разочарования? — думаю я и на пристани, и в лугах, и у дома.— И кому она дается? И отчего внезапны и радости и конец?»

Женщины покрывают тряпицами вишни и поднимаются вслед за приезжим, помаленьку отставая и сворачивая к своим воротам. Свежим глазам открывается пустая длинная невзрачная улица с ямками. Тут незнакомец удивляется простоте и несхожести заповедного села с тем, что воображалось ему по печатному слову поэта. И спрашивает себя: неужели это оно, в черемухе и садах, и если его не было такого никогда на свете, то неужели душа может сыскать такое нежное, чуткое слово?

А в доме, ступая по обыкновенным полам и принимая устроенный музейный уют за крестьянский, дальние видят на больших фотографиях и рисунках юное, мягкое лицо и бережно запечатленные дорожки, деревья и огороды, и чья-то слабая, неиспорченная душа коснется песенного славянского наречия. Кому-то суждено молитвенно постоять и унести свои чувства надолго, не имея смелости и проворства передать их толстой тетрадке на столике. Кому-то не терпится причаститься к тетрадке, и я угадывал человека тотчас же, по первому слову.

Милый Сережка! Юность так многим обязана тебе. Твои стихи заставляют трепетать сердце, грудь так и рвется вперед. Очень жаль, что так рано оборвалась твоя жизнь певца мещерской Руси! И позволь мне закончить стихами:

*И клен у знакомой калитки,
И волшебная трель соловья —
Все это душу волнует,
Как будто было вчера!*

Из Грузии, с берегов Арагвы, мы привезли Вам цветов.

Приходили из Федякина земляки Есенина. Так радостно почувствовать себя как бы близкими поэту.

Очень жаль поэта. Когда я читаю русские сказки, я вспоминаю Есенина. Самые поэтические образы русского народного творчества напоминают мне его — вечного, прекрасного, очень похожего на матушку-Русь.

Нету гостиницы, и в магазинах мало продовольственных товаров.

*Был у Сережи Есенина!
Восхищен его творчеством!
Преклоняюсь перед ним!
Есенин был!
Есенин есть!
Есенин будет в веках!*

Как мало мы ценим своих певцов при жизни, и как легко, в сущности, падать к их ногам через 50—100 лет после смерти.

Здесь все так просто. Будто приехал в деревню к старым родственникам. В этом вся прелесть. Такое волнение, когда подходишь к домику, когдаходишь в него. Сердце сжимается.

Таня Зуева.

А я спустился с крыльца, зашел к тете Нюше, сказал, что пойду в луга, если кто-нибудь меня переправит. Тогда, в августе, я мало знал о нем, и легче мне было. Я сбежал с косогора мимо школьного сада и нового коровника и крикнул на другой берег мальчишкам в лодке. Пароход прошел кузьминские шлюзы, коротко вскрикивал над алеющими полями в невидимых даях, где в ту рязанскую осень плыл наш катер с женщинами и гармонистом, спешившим к любушке на ночевку.

В лугах пахло теплой травой. Я шел, шел между болотистых ям, остановился, оглянулся вокруг и весь вдруг приподнялся на цыпочках, выкинул руки вверх, к небу, с какой-то не то радостью, что живу на свете и нахожусь в лугах, не то грустью, что никого сейчас нет со мной, чтобы сказать или посмотреть понятно другу в глаза.

«Таня Зуева,— вспомнил я.— Да, Таня, молодость, нежность, впечатлительность. Такие вот и переписывают в тетрадку слова, что я видел на корочке книги: «Любить себя я не прошу, на это прав я не имею, но если сможешь — не забудь, вот все, о чем просить я смею». Такие постарше спрашивают себя: «Неужели могут быть злые люди?» Таких мы ждем в юности, а они где-то идут мимо либо приходят уже другими. Такую и он хотел найти — простую, близкую, как в селе, как в ервая, Изряднова, которую он забыл ради именитых, пышных и неродных...»

О, как далеко ушла жизнь и унесла с собой младенческое понятие о судьбе! Сначала была Аня Изряднова, потом Ключев — оба с первого взгляда родные, утолившие его сиротскую бесприютность в столицах нехитрыми словами и лаской. Аня была проста и безгрешна, а он так юн и наивен, и она вспыхнула для него, самая первая, самая золотая и навеки, казалось, любимая. Ключев обнял его крепко и стал называть братиком, голубем белым, и он его тоже посчитал единственно близким, тех же, но северных корней, с окуньей реки, от часовни на бору, от хлебной печи... И как скоро перевернулась жизнь, как закружился он в пестрой смене друзей и позабыл глаза, которые следили за ним длинные годы. Минуло десять лет, и вот в таком же июле, озолоченном хлебами и солнцем над речкой, только совсем несмышленным и готовым внимать, читал он у материного окошка письмо с Олонецкого края. Странный, не помужски лепечущий Ключев учил его жить и беречь себя. Он почему-то боялся за него: ты, мол, как куст лесной шипицы, которая чем больше шумит, тем больше осыпается. Быть в траве зеленым, а на камне серым — вот, мол, что наше, чтобы не погибнуть. Беги от лавров Северянина, говорил он, от ядовитых колючек, беги, просил всю жизнь, от тех книжников, которые всех, кроме себя, почитали за варваров, беги и гордо держи сердце свое перед соблазном. Мир тебе и любовь, слышу душу в твоих писаниях, в них жизнь не вольноидущая. Любящий тебя светло, заканчивал он в ожидании. Может, и прав был его олонецкий брат. Тогда он верил ему. Тогда нравились ему избяные песни, колдовство свирельной мечты, девушки-царевны, и тогда с гусярами и ржаными апостолами дальних деревенских гнезд, брезгуя каменным логовом, сошелся он братски в крестьянской купнице и удивил столицу пастушескими нарядами. И ударились они от трудных дней в лапотную старину и сказку. Да, скоро проснулся он. Сквозь скифскую вольницу и писания праотцев посветил ему дальний огонек настоящей Руси. Посветил и померк. Не мог и не хотел он вместе с братцем Пименом опрокидывать корабль интеллигентов. Он молча простился с братцами, с древним благочестием и попал к тем ученым разбойникам, которые жили с таким видом, будто без них не восходит солнце. И пошел он скитаться и мучиться, целовать красавиц, и расставался с колыбельным порогом, плакал и убегал, принимая за истину то, что расплывалось как дым, и не было друга. Порою глядел он на связавших его манифестом и думал: ни одного-то сердечного слова они не нашли, ни одна старушка не вызывала у них желания покаянно склониться долу и никакого бога в душе не носили: так бы и шлялись из клуба в клуб, из театра в театр, заваливали окурками пепельницы,

пили и спорили все о чем-то далеком от настоящего дела и настоящей жизни да похвалялись изощренными выдумками. Гоняло его по городам, гостиницам и дачам — зачем же? И отчего же плакалось чаще по дому, но не сиделось в родной баньке на огороде, и на третий-четвертый день тоска снимала в столицу, как будто только там, в шумных стойлах, и было уже теперь мудрое присутствие жизни? А Русь жила, и жив был русский ум, и в лугах-то и ютилась правда. Ах, мечтатель, сказочник, обманули его лунные ночи, оскорбили постные дни. Кабы знал он, что счастье достается по возрасту. А он помнил всегда себя ласковым мальчиком.

«Сереза, Сергунь...» — шептали женские губы, и женщины жалели его, и всегда в их голосе, в их отношении покровительно-бережная нотка старшинства. Сколько бы он ни задавался, сколько бы ни дрался, ни пил, ни матерился по-мужицки, ему прощали, с ним обращались как с мальчиком, как с сосудом, который боязно уронить. И в деревне, на родной улице, сверстники стали мужиками, стали незаметно, от забот и ежедневной усталости, как и положено, как и ему суждено от рождения. А он выделялся задержавшейся юностью и рядом с ними выделялся еще заметнее. Все еще преданный и понятный соседям, уже с отвыкшим настроением наблюдал за покачнувшимся бытом. Только мимолетно, с нездешним вниманием любовался он милыми простыми молодницами и не тянулся к ним воочию, забывал, терзая сердце какой-то странной, какой-то всевышней любовью к неизвестной. Да, мечтатель. Вдалеке и за давностью времени слова по телефону и слова на листочках вспоминались с песенной нежностью к той, которую теперь не видел в опустошающих душу подробностях, но кого снова выдумывал, и она летела в тумане, над лесами и долами, и легкой обманчивой тенью колыхалась на белой занавеске в высокой московской квартире. «Очень хочется видеть тебя, — бильюнебилью наплывали слова, — и говорить, или просто сидеть, или, например, пить чай. С тобой легко и спокойно. Потрогаю тебя по голове, ты все так же вьешься после дождя? Грустно чего-то. Вижу тебя». Летела бы она к нему, что ли, в эту лунную константиновскую ночь, в этот час, пока не испорчено чувство, и обнял бы он ее как царевну. Но никто не слышит через леса и дороги, и короток сон во тьме: там, где сейчас она на себя не похожа, где она женщина-песня, с незаспанным лицом, без простоты отношений и слов после всего, там рухнет писанный образ, и глупому детству снова настанет конец. Бедный немудрый мечтатель. Его просто убивало, когда он встречал знакомую замужнюю женщину, еще молодую и прекрасную, еще вроде бы ту же, но уже с потухшей стыдливостью на лице, с не-

боязнию в глазах от дареного порока, и он мог бы свободно сказать ей те запретные, те мучительные девичьему сердцу слова, от которых она уже не краснела. Пора было привыкнуть к вечной перемене человека, и еще недавно почудилось, что время такое настало. Но осень, но желтые подмосковные рощи, молчание, медленные шаги по лестнице, диван, усталость, сон, и теплое касание губ, и большие глаза Августы — и опять омут, детство, мечты... Опять мечты. Так без конца. Да что же дальше-то? В Персию! На горячие камни, на цветные базары! Кого из них позвать с собой? А может, встретится персиянка, Шах-разада, хотя бы мелькнет и обвеет духами, растает, приснится потом на ночь глядя — мечта! Удрать в Персию, чтобы вспомнить родину! Удрать к избам, чтобы вспомнить Персию! И так без конца, во всем и во всем. Утихнет ли, переменится сердце? Если вспомнить, то и в юности, с тех пор, как позвал его бог к очарованию, душа не знала терпения: взлетая поднебесно, она как бы боялась упасть и разбиться. Он так дорожил дружбой, столько раскалывался для всех, и вот оглянулся, и что же: кто за спиной, где она, родная мужская душа? Умру, думал он, и напишут, как пили, гуляли со мной, и какие глупости я говорил, и сколько баб у меня было, полезут лапами в душу, в тот терем, который мы никому не раскрываем. Вспомнятся случайные слова, и каждый использует их как ему выгодней, и лишь тот, кто любил меня, может быть, в стороне промолчит, негодуя, или запрячет правдивую тетрадку на будущее. Может, зря он не верил Ключеву, отпугнулся его сектантской любовью, может, этот странный брат погорюет самым искренним образом? Прощайте, малиновые волосы, золотые сандалии балерин, прощайте, ветреные поклонники музыки, явись русское поле, тишина, простая женщина и на людское похожий очаг. Да что же так гонит в столицу с лугов, что не держит родная земля?

Так ли с ним было? Не знаю, не знаю. Придумалось мне именно так, и ничего я не мог с этим поделать. Наверное, представлялось ему набегавшее тридцатилетие, не чье-то мудрое, спокойное, а свое, как бы нежеланное, поспешившее, к которому он дошагал смертельно усталый. Отчего такая усталость, такая старческая немощь в тридцать лет? Наверно, страшно было ему одному по ночам, когда признавал, что эта луна светила другим и посветит младшим, а он не сможет проснуться и не сможет до тонкостей разузнать, зачем же он был на зеленой траве и каким явился позднему племени — любимым и близким или имя его занесли нарицательным? Наверное, было много в жизни непрочного и было много искаженного в нем трудными днями и, наверное, не хватило ему радости для иных песен и для надежд...

Олонецкий его друг писал когда-то:

*Забудет ли пахарь гумно,
Луна избяное окно,
Медовую кашку пчела
И белка кладовку дупла?*

В лугах косили траву.

В середине июля он был в деревне последний раз в своей жизни.

— Так особо мы не приглядывались к нему, ну, Серега и Серега! Парень был веселый, не сказать, чтобы очень озорной, но не лапша, в деревне лапшой быть — заключают, сами знаете. Шалун был.

— Шалун? — переспросил молодой человек с аппаратом на груди, может, тот самый, что напророчил Есенину остаться в веках.

— Шалу-ун,— повторил старик, сидевший на лавочке в сумерках.— Бывало, чуть что — драться. Ни одной игры без драки не проходило. Маленькие были. Ну и ему часто влетало. В драке-то он слабурукый был, ну, а затеи его. Как что не так — р-раз, смотришь, уже влепил соседу. Сейчас все на него. И не серчает. Тут же отвернулся, утерся, и опять играть. Беззлобный был. Простак. Последним поделится. Дед-то бочку с вином выставлял на дорогу, поил прохожих.

— Что вы говорите! — воскликнул мужчина хозяйственного вида с сеткой яблок в руке.— Вы и деда знали?

— Ну, а как же. И деда по матери, и бабушку, всех, с одной деревни. Кто ж думал, что он у нас свой поэт будет.

— А я читал,— сказал парень, присаживаясь к старику на лавку,— сестра пишет в воспоминаниях. Но скупко как-то пишет.

— Раньше воду с Оки носили, на горку. Соберемся, ни одной бабе проходу не дадим: то песку насыплем, то еще чего, и он с нами. В школу ходили, в церковь. Бывало, часто тетрадки давали. Их надо было сшивать. У каждого иголка с ниткой. И вот он впереди меня сидел. Сейчас повернется: «Глянь, ребята!» Втыкает иголку в ладонь и здесь вытаскивает. И не поморщится. От него можно было ждать такой смерти. Отчаянный.

— Да, да,— подтвердил мужчина,— по стихам видно. Горел на ветру. Да.

— Было за ним.

— А еще что помните? Насчет этого правда он был? — щелкнул по горлу парень.

— Вот когда приезжал, собирал, здесь теперь колонка, любителей выпить, и другого дела не было. Вот особенно и помню, что приезжал, выпивал, в луга ездил. Так я его помню. Ему все это хотелось рыбу ловить, сено ворошить, со стариками любил потолковать. Ведь давно это было, как в клюшку играли, как еще красота в бабе нравилась, хе-хе. Давно.

— Давненько я не брал в руки шашек, да? — засмеялся парень.

— Если бы знать, что о Серege будут так интересоваться, приглядывался бы, записывал на худой конец. А то жили и жили. У него в Москве свои дела, у нас — по-крестьянскому. Серege и Серege. Поэт. Зайдет — хорошо, не зайдет — значит, некогда. Раз на свадьбу приезжал, по-моему, за год до смерти. Двоуродного брата. С женой ли, с кем. Черная, наподобие грузиночки, с косой, развитая девушка.

— Галя.

— А кто его знает! Папиросочку можно?

— Она застрелилась на его могиле, — сказал парень.

— Он с двумя наезжал: год с одной, год с другой.

— Может, это балерина? Айседора?

— Айседору он уже бросил, нет.

— Шаганэ ты моя, Шаганэ?

— Вот чего не знаю, того не знаю. Шаганэ — это грузинское?

— Армянка! — сказал парень и как-то противно потер руками.

— Нет, тогда нет. Помню, на свадьбе горшки бил, в шубу рядился. А потом я с охоты шел, он с ней в лугах мне попался. Коня отобрал у мужика, ее наперед посадил, сам к ней спиной и бьет кобылу по задку. Смеху было! Чудак. Они все такие, видать... И Пушкин тоже... Все. А? Насчет политики не знаю. Не хочу врать. А? В это нам с вами вдаваться трудно. Кто мы, откуда — это наши родители знают. Я вам могу сказать строго по секрету, об этом не надо бы рассказывать. Отец у них был лапот. Они мирно жили, годами поврозь.

И старик осторожно передал деревенскую сплетню.

— А я у вас тоже хочу спросить. Вот сколько у меня бывало вашего брата, и все задаю вопрос. С тех пор, как Сергей похитил себя, больше сорока лет прошло. А чего раньше-то...

— Так это я-ясно,— сказал парень и встал.— Тут, батя, надо сесть, выпить, и тогда выясним. Запросто.

— Дорогу к вам надо проложить,— перевел разговор мужчина.— Места красивы, больше поедут, и вам неплохо. Рыба есть в речке?

— Е-есть,— сказал старик.— Дайте еще папирочку. Рыбка еще водится.

Старик прикурил и засобирался домой.

— Спасибо за откровенность,— сказал мужчина.

— Не за что. Ночевать есть где?

— Устроимся,— сказал парень.— Старуха не примет, к молодой пойдем,— пошутил парень и повернулся к улице. Старика он мгновенно забыл.

«Здесь все так просто...— вспомнил я Таню Зуеву.— Такое волнение, когдаходишь к домику...» Да, так и есть: кто понимает живых, тот поймет и мертвых.

Я не повернул к тете Нюше, а пошел к околице, мимо заколоченного крест-накрест досками дома с рябиной, к Федякину. Солнце давно уже светило чужим краям. Месяц-помощник еще висел над другими деревнями. Ходили раньше под ним девицы по воду и, окуная ведро в белые пятна, загадывали на тех, по ком вздыхали. Не мог я сейчас не вспомнить о них и о песнях, всеми забытых, потому что ночь, звезды, черное слепое пространство приближают к вещему порогу. Да, ходили по воду и верили месяцу, благословляли его слабый любовный свет. Верили звездам, воде, к которой я теперь приближался и остановился наконец над ее пасмурно скользившей среди земли дугой. Ока. Тихая путеводительница, всех пережившая, отдавшая в изгибистые рукава воды прежние и влекущая воды свежие. Ока точно стоит и дремлет. Не поем мы старых песен и не верим месяцу, а сами все те же в тайности и желаниях. Опять подумал, что десять лет прошло. Гонишь в стороне свои важные дни и не часто обращаешься к вчерашнему, но вдруг встретишь пропавшее лицо, услышишь слово, взглянешь около — что-то ушло, и жалко его. Завидно месяцу, воде и звездам: они не устанут.

Чего мне хотелось к ночи? Хотелось сложить хорошую песню и хотелось настоящих слов. Чтобы все вздрогнули и оглянулись на звук. Хотелось сесть в лодку и плыть по ночной белой ленте меж дремных избушек-стогов и причальных сырых досок, думать о тех, с кем не увиделся на этой земле и с кем застал дальний от сказок век. Что только не является человеку во тьме! И в тишине, под размягчающим дыханием рязанской ночи, которая вечно просит признаний, я вспомнил друзей и стал обращаться к ним, писать им устные письма, звать к себе. В любой стороне воскрешал я их, а в этой особенно.

Далеко вы порою бывали, но вы с утра до вечера жили со мной на русской земле, где-то дышали и думали. И если в Москве длинными гудками в пустой квартире напоминали о ваших странствиях телефоны, я все равно знал, что мы встретимся и напишем друг другу. Вы спасали меня одним своим присутствием в этом мире. Не все удалось вам из того, что намечалось в сладкой юности. Разбросаны вы по градам и весям, скучаете друг без друга и шлете такие длинные письма, которые хитрой породе и не снились. Да и не нужна им такая откровенность: она принадлежит совестливым. Да и бог с ними, иждивенцами жизни, бог с ними: с их счастьем, дипломатией, умелой покорностью в передних, интригами. Кому что дано от природы, то и сказалось. Вы помните, как мы начинали жить? Помните, сколько ночей прокурили, сколько книг перебрали и сколько раз мчались в общих вагонах с бабками Марьями и необидчивыми Иванами? Беднее, что ли, была наша юность, чем у осторожных сверстников наших? Да лучше мы век будем сдавать бутылки из-под кефира, но зато в редкие свидания мы потянемся пешком в Верею, в Боровск, вдоль Протвы-реки, любуясь старой русской окраиной и чистыми детскими лицами, опять жалея об одном, о том, что мало отпустил бог таланта, чтобы с древней широтой и удалостью воспеть то, чему мы молились. Мне легче становится, когда я думаю о вас и так высоко обольщаюсь. Стоял я над великой Окой и желал вам негромкого счастья. Судьбы, что как тонкий месяц на небе, прямых дорог, ласковых женщин, подобных тем, кто затыкал звезды за волосы, мостил перстневые мосты, зажигал восковые свечи, кто просил испить воды у криницы и верил в превращение в камень, верил в шепот зеленых дубрав, сравнивал свою младую тоску с тающим снегом в руке, потому что просилась душа высоко. Ночь ли тому виною, или жалко мне было любимых героев, но я обожествлял близкий мне круг. Ничто не кончится прахом, и запомнит мир своих песельников. Запомнит рыжих и бородатых, и будет еще настоящее слово о рязанцах, вологодцах и о вас, псковский хранитель.

А за день до отъезда я шел с поля в деревню. За день до отъезда прощался. Стоял серенький денек, один из тех стихших в молчании дней осени, когда даже походка человека становится задумчивой и когда на закате хорошо сидеть у окна и, глядя на далекую дугу реки, слушать по радио элегические песни, стихи об осени. Осень пришла, пора отправляться домой и неусыпно продолжать заботы. Осень пришла на эту дорожку мне рязанскую землю, и я шел, покорялся природе, что-то напевал,

рассуждал о великих, летел опять куда-то. Сами собой повторялись во мне слова с пожелтевших страниц: «...не донкихотствовать... не потакать улице... по мере сил способствовать осуществлению простейших бесспорных положений добра. Их немного. Беречь их как сокровище».

Осень пришла.

Возле дома с рябиной я повстречал старушку. Маленькая, опущенная к земле головой, она перегоняла через дорогу свиношек. Рот ее провалился, а глаза светились, как водица.

— Здравствуйте, бабушка,— сказал я.

— Здравствуй, деточка. Чей ты?

— Приезжий.

— Небось, к Есенину?

— Да, к Есенину. А вы знали его?

— Сергея? Суседи мы были... Филоновы. Поэт, в газету писал Царство ему небесное, хороший был человек. Чего писал — не скажу, а человек был хороший.

— Сколько ж вам лет, бабушка?

— А восемьдесят.

— Ну-у...

Она засмеялась, потому что намного убавила годы.

— Уморилась считать, деточка. А зачем тебе мои годы? Открою правду — глядишь, и помру назавтра. А так и живу и живу, и все молодая.

— Живите, бабушка. Наверно, трудно жилось?

— Всяко. А зачем тебе, деточка? Все равно ты моей жизни не поможешь. Каждый сам себе.

— Живите, бабушка. Живите на здоровье еще столько же.

— Хлебушко будет — поживем. Рук на себя не наложишь. И вы живите, набирайтесь терпения. Хлебушко будет, а остальное ладно.

Я провожал ее взглядом. Свиношек погнала. Целый век загоняла коров, свиношек, доила, цедила, резала мясо, пекла хлеб. Пела только те песни, которые дошли сами собой. За лесом тянется в ее сознании нескончаемая Русь, и оттого, что она далеко не отлучалась, свет белый рисуется ей таинственней, чем нам. Пускай бы, и правда, пожила она столько же, как и та незнакомая русская старуха. О певцах не расскажет, но все же живой свидетель древности. Это при ней-то, в канувшие годы, были сложены песни, которые мы повторяем. В глубоких могилах полегли ее спасители-певцы, а она еще здесь на траве. Кто-нибудь приедет, и укажут ему окошко, где дышит еще в полузабытьи сама старина, странно сохранившая свои хрупкие косточки, водицу-глаза, голос и сонную походку. «Хлебушко будет — поживем».

Хлебушко-то будет...

«О, как бы найти мне то верное слово, которое бы совпало с русскою жизнью, не похожею ни на какую другую!»

Я уйду далеко по улице, а она еще бредет, стучая палочкой, ко двору, цепляя подолом траву. Что видела, что слышала, что думала и пела — все уже далеко от нее, будто не на этом свете. Но пусть еще долго живет. Раз уж не достается протяжной доли избранникам, хоть матерям бы, Арине Родионовне или просто-волосой соседке отпустил бог бессрочную жизнь. Мы бы все-все почувствовали, глядя на них, мы бы со слезами на глазах шли к их воротам от самого края земли. Шли бы и думали: «Это еще оттуда... от е го времени... Это еще Русь...».

Вот, дорогой мой историк, о чем я подумал на прощание,

Коктебель — Краснодар.

1968 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Когда-нибудь	3
Люблю тебя светло	17



Виктор Иванович Лихоносов
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СВЕТЛО

Редактор — **П. А. КРАВЧЕНКО.**

Технический редактор **Я. М. Борисов.**

Сдано в набор 17/VIII 1971 г. А 00654. Подписано к печати 19/XI 1971 г.
Формат бум. 70×108^{1/32}. Объем 2,80 условн. печ. л. 3,46 учетно-изд. л.
Тираж 100 000. Изд. № 2455. Заказ № 1764.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты
«Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

В нашей стране ежегодно издается громадное количество книг самого различного содержания. Только в Российской Федерации в прошлом году было выпущено 47 130 книг и брошюр общим тиражом 1 миллиард 5 миллионов 184 тысячи экземпляров.

● Довести это колоссальное книжное богатство до широких слоев городского и сельского населения возможно лишь при активном участии общественности и самих книголюбов. Хорошей формой массового вовлечения их в эту работу служит книжная лотерея, проводимая Комитетом по печати при Совете Министров РСФСР с марта 1965 года.

● Книжная лотерея проводится исключительно в интересах советских читателей. Ее отличительная особенность состоит в том, что она постоянно действующая. В соответствии с утвержденным положением ежегодно проводится по 4 выпуска лотереи, общая сумма которых составляет 20 миллионов рублей. Для этого изготавливается 80 миллионов лотерейных билетов достоинством в 25 копеек.

● В каждом выпуске 6 миллионов 900 тысяч выигрышей на 4,5 миллиона рублей: выигрыши в 50 копеек, 1 рубль, 3 рубля и 5 рублей. Общая сумма выигрышей составляет 90 процентов к стоимости всех реализованных билетов.

● Вторая, не менее важная особенность книжной лотереи состоит в том, что у нее нет тиражей. Выигрыши заранее заложены в опечатанном билете. Каждый обладатель «счастливого билета» может отоварить его на месте, или в любом другом книжном магазине, или в киоске в течение всего срока действия данного лотерейного билета. Иными словами, читателю предоставлено право самому выбрать любую книгу или, скажем, эстамп, альбом для марок или набор художественных открыток.

ТОВАРИЩИ! ПРИОБРЕТАЙТЕ БИЛЕТЫ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ЛОТЕРЕИ!

**ПРИОБРЕТАЙТЕ БИЛЕТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ЛОТЕРЕИ**